

Александр Шойхет



Москва  
Тель-Авив



Э.РА

ИЗБРАННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Александр Шойхет

**Избранные  
произведения (сборник)**

«Э.РА»

2006, 2009, 2012

## **Шойхет А. С.**

Избранные произведения (сборник) / А. С. Шойхет — «Э.РА», 2006, 2009, 2012

Александр Шойхет – известный и признанный израильский писатель, член Союза русскоязычных писателей Израиля, автор нескольких книг, лауреат премии им. Ю. Нагибина Союза русскоязычных писателей Израиля, а также номинант на престижные литературные премии: «Русский Букер», «Новая словесность», «Русская премия», премия им. Бунина. А издательстве «Э. РА» были изданы его романы: в 2006 году – первое издание романа «Витражи» (в серии «Русский роман. 21 век», в 2012 – второе издание романа «Витражи» в той же серии; в 2009 – роман «Агасфер» (в серии «Новая классика»). А. Шойхет – москвич, выпускник Литературного института им. Горького, активный участник демократического и еврейского национального движения конца 80-х годов в Москве. Еще раньше, в конце 70-х, он преследовался КГБ по обвинению в «распространении клеветнических измышлений о советском строе». В 1990 году репатриировался в Израиль. Биографию писателя отчасти можно проследить по его произведениям, однако не стоит думать, что он пишет о себе. Книги А. Шойхета – как произведения любого незаурядного писателя – это портрет поколения. Более подробно о двух его романах можно прочитать в предисловиях, которые были помещены в бумажных изданиях, а в настоящем издании они находятся на страницах 7 и 9. Творчество А. Шойхета не только раскрывает трагическую судьбу российского еврейства 20 века, но и уводит нас в прошлое и будущее еврейского народа. Фантастика переплетается с реальностью, автобиографические детали – со свидетельствами целой эпохи, и даже не одной (недаром судьба героя романа «Агасфер» начинается в крепости Масада, а заканчивается на «крыше» одного из домов Южного Тель-Авива)... Читая книги Шойхета, мы перемещаемся во времени и пространстве, но нигде нас не покидает очень важная сквозная тема, которую встретишь не у каждого еврейского писателя, – вопрос о человеческом достоинстве еврея, как отдельного, так и всего народа в целом. Разумеется, тема эта неотделима и от темы

человеческого достоинства вообще любого человека, живущего на Земле. Некоторые рассказы могут стать подлинным откровением – таков, например, рассказ «Пан-жид», где буквально в нескольких словах, словно мазком кисти импрессиониста, автор доказывает и неизбежность, и трагичность участия евреев в российской революции 1917 года... Можно прочитать на эту тему много исторических исследований – и это ничего не даст. И лишь талантливый писатель может достучаться до сердца читателя простым документальным рассказом... Желаю Вам, дорогой читатель, счастливой встречи с писателем Александром Шойхетом. Э. Ракитская, член Союзов писателей Израиля, Москвы и Иерусалима.

© Шойхет А. С., 2006, 2009, 2012

© Э.РА, 2006, 2009, 2012

## Содержание

|  |     |
|--|-----|
| От издателя                              | 7   |
| Герой нашего времени                     | 8   |
| Предисловие к роману «Агасфер»           | 9   |
| Хозяин и Кот                             | 10  |
| Картина первая. «Утро туманное...»       | 10  |
| Картина вторая                           | 12  |
| Картина третья                           | 14  |
| Картина четвертая                        | 17  |
| Картина пятая                            | 22  |
| Картина шестая                           | 24  |
| Картина седьмая                          | 26  |
| Картина восьмая                          | 30  |
| Живу надеждой                            | 34  |
| Мой золотой Иерусалим                    | 37  |
| Стрельба из пистолета по движущейся цели | 43  |
| Путешествия странного человека           | 47  |
| Глава первая                             | 47  |
| Глава вторая                             | 55  |
| Глава третья                             | 57  |
| Глава четвертая                          | 64  |
| Глава пятая                              | 69  |
| Глава шестая                             | 80  |
| Глава седьмая                            | 82  |
| Запись в дневнике г-на Н.                | 92  |
| Первый дом на Родине                     | 101 |
| Глава восьмая                            | 106 |
| Конец ознакомительного фрагмента.        | 107 |

# **Александр Шойхет**

## **Избранные произведения**

© Александр Шойхет, 2015

© Издательство Э. РА, 2015

## От издателя

*Александр Шойхет – известный и признанный израильский писатель, член Союза русскоязычных писателей Израиля, автор нескольких книг, лауреат премии им. Ю. Нагибина Союза русскоязычных писателей Израиля, а также номинант на престижные литературные премии: «Русский Букер», «Новая словесность», «Русская премия», премия им. Бунина.*

*А издательстве «Э. РА» были изданы его романы: в 2006 году – первое издание романа «Витражи» (в серии «Русский роман. 21 век», в 2012 – второе издание романа «Витражи» в той же серии; в 2009 – роман «Агасфер» (в серии «Новая классика»).*

*А. Шойхет – москвич, выпускник Литературного института им. Горького, активный участник демократического и еврейского национального движения конца 80-х годов в Москве. Еще раньше, в конце 70-х, он преследовался КГБ по обвинению в «распространении клеветнических измышлений о советском строе». В 1990 году репатрировался в Израиль.*

*Биографию писателя отчасти можно проследить по его произведениям, однако не стоит думать, что он пишет о себе. Книги А. Шойхета – как произведения любого незаурядного писателя – это портрет поколения. Более подробно о двух его романах можно прочитать в предисловиях, которые были помещены в бумажных изданиях, а в настоящем издании они находятся на страницах 7 и 9.*

*Творчество А. Шойхета не только раскрывает трагическую судьбу российского еврейства 20 века, но и уводит нас в прошлое и будущее еврейского народа. Фантастика переплетается с реальностью, автобиографические детали – со свидетельствами целой эпохи, и даже не одной (недаром судьба героя романа «Агасфер» начинается в крепости Масада, а заканчивается на «крыше» одного из домов Южного Тель-Авива)... Читая книги Шойхета, мы перемещаемся во времени и пространстве, но нигде нас не покидает очень важная сквозная тема, которую встретишь не у каждого еврейского писателя, – вопрос о человеческом достоинстве еврея, как отдельного, так и всего народа в целом. Разумеется, тема эта неотделима и от темы человеческого достоинства вообще любого человека, живущего на Земле. Некоторые рассказы могут стать подлинным откровением – таков, например, рассказ «Пан-жид», где буквально в нескольких словах, словно мазком кисти импрессиониста, автор доказывает и неизбежность, и трагичность участия евреев в российской революции 1917 года... Можно прочитать на эту тему много исторических исследований – и это ничего не даст. И лишь талантливый писатель может достучаться до сердца читателя простым документальным рассказом...*

*Желаю Вам, дорогой читатель, счастливой встречи с писателем Александром Шойхетом.*

*Э. Ракитская, член Союзов писателей Израиля, Москвы и Иерусалима.*

## **Герой нашего времени**

### ***Предисловие ко второму изданию***

### ***романа «Витражи» (Э. РА, 2012 г.)***

Если бы меня спросили – кто он, герой моего времени, – я бы не задумываясь ответила: герой моего времени – это немного диссидентствующий московский интеллигент в очках... Тот самый, который уже не шестидесятник, но еще и не «новый русский». Герой много раз склоняемого во всех падежах так называемого потерянного поколения – то порядочный, то не очень; то смелый, то запуганный; то умный, а то и недалекий в своих оценках; то ненавидящий своих сограждан, а то готовый отдать за их «права человека» саму жизнь, – словом очень странный для многих персонаж, увы, не задержавшийся на исторической сцене надолго, но оставивший неизгладимый след в истории России и повлиявший на весь последующий ход событий в стране.

Именно он – этот наследник Онегина и Базарова, с одной стороны, и незабвенного «маленького человека» – с другой, и предстает перед нами на страницах прекрасной книги Александра Шойхета.

Герой моего времени и моего города (который по праву можно назвать целой страной) почему-то непременно видится мне евреем. Наверное, это не случайно. Ведь кто, как не еврейский интеллигент-идеалист, был способен вступить в близкое знакомство с девушкой только ради того, чтобы она дала ему почитать книги Солженицына и других запрещенных авторов? Или свято верить, что чтение этих книг и тому подобные бесполезные действия, вроде честности на работе, помогут освобождению народа от советской власти, цензуры и ненавистного КГБ?..

Именно таким и предстает перед нами герой романа Александра Шойхета. И этот герой – настоящий и живой. Я не буду пересказывать книгу, скажу лишь, что, на мой взгляд, это, во-первых, настоящий МОСКОВСКИЙ роман, а во-вторых – это безусловно, книга, проливающая мистический свет на роль евреев в России. При всей как бы заурядности, типичности нашего героя, именно он и такие же, как он, и оказываются в конечном итоге катализатором событий 91 года, назревавших в течение многих лет. В романе это произносится открытым текстом.

Однако автор и его герой полагают, что, дав стране толчок к свободе, евреи... должны ее покинуть, дабы не повторять исторических ошибок своих предшественников, а строить жизнь в собственной стране. Выходит, что «Витражи» – это еще и сионистская книга. Сегодня, когда на улицах Москвы вновь шумят многотысячные демонстрации оппозиции и люди еврейского происхождения, как всегда, в первых рядах, роман Александра Шойхета, который еще несколько лет назад можно было назвать историческим, приобретает острую злободневность<sup>1</sup>.

Жанр «Витражей» – полумистический. В книге есть и Ангел-Хранитель, и Ангел Смерти, и чудо, и – наконец – если можно так выразиться – хеппи-энд, – ибо герой умирает в Эрец Израэль и именно так, как сам того хочет и заслуживает, что и вполне закономерно, и в меру романтично, и в меру красиво, – а в общем-то, если говорить честно, на глазах выступают слезы... Да и чего еще нужно в конечном итоге нам от чтения русского романа? – ведь, пожалуй, слезы – это и есть самая высшая читательская похвала.

*Э. Ракитская, 2012*

---

<sup>1</sup> Еще большую злободневность этот роман приобретает в свете украинских событий 2014 г. (прим. Э. Р., 2015)



## Предисловие к роману «Агасфер»

Главный герой этой книги – Еврейский вопрос. Ах, этот вечный, нудный, прилипчивый и неразрешимый вопрос... «Да кому это сегодня интересно? Уж не российскому же читателю, занятому только деньгами да своими постсоветскими разборками с демократией-шмократией...» – скажете Вы, интеллигентный читатель (на иного мы и не рассчитываем!), – и, конечно, ошибетесь... Ибо как раз в XX веке, с тех пор как евреи покинули свои кагалы и местечки и вышли на широкий простор мировой истории и политики, вопрос этот встал во главу угла и приобрел какое-то величественно-заключительное звучание, как последние аккорды длинной симфонии... Именно в 20 веке еврейский вопрос пытались решить по-разному, но кардинально – Ленин и Жаботинский, Бен-Гурион и Гитлер, Сталин и Голда Меир, Солженицын и Александр Мень... Вопрос этот в конечном итоге породил войны и революции, возникновение новых государств и крах оных... Никто из крупных политиков, писателей или философов не остался безучастным к нему. От него, по мнению многих, – не побоюсь сказать правду – зависит и само существование человеческой цивилизации...

Александр Шойхет предлагает нам в этой книге свое видение вечного еврейского вопроса. Впрочем, это видение не противоречит иудейским религиозным принципам. За остросюжетной приключенческой канвой романа скрывается цельная концепция жизни и смерти нынешней земной цивилизации. «Агасфер» будет интересен всем без исключения – старым и молодым, русским и американцам, почвенникам и западникам, юдофилам и антисемитам... Последним, кстати, – в особенности... (ибо кто более горячо и бескорыстно, чем профессиональный антисемит, интересуется всем, что связано с местом и миссией евреев в мире?)

Я не буду пересказывать содержание книги и выводы автора, тем более что роман написан лаконично и прозрачно; как сам сюжет, так и второй план, символика и параллели из Священного Писания, – всё это абсолютно доступно и понятно любому мало-мальски грамотному читателю. Но все же, забегаю вперед, скажу: фантастический роман А. Шойхета уводит нас из темного прошлого в будущее, где евреи, выполнив свою миссию, исчезают (или ими – в духовном мистическом смысле – становятся все)... И мне как читателю все же немного жаль, что в обновленном мире, по мнению автора, больше не будет еврейского вопроса...

*Э. Ракитская,*

*издатель, член Союзов писателей Москвы, Израиля и Иерусалима, 2008*

## **Хозяин и Кот**

### **Драма для театральной постановки или киносценарий**

#### **Картина первая. «Утро туманное...»**

##### **Кот**

Светает. Рисунки на обоях и все предметы в комнате постепенно становятся четкими, приобретая свой дневной вид. Люди почему-то думают, что мы ночью видим окружающий мир так же, как и при свете дня. Люди ошибаются. Мы видим достаточно хорошо, чтобы не налететь на выступ шкафа или стул, но и для нас ночной мир так же зыбок и загадочен, и наполнен странными звуками. И предметы в доме, деревья, и кусты и трава на улице, – все окружающее становится расплывчатым, меняет очертания, краски, пугает и манит.

В нашей комнате перед рассветом особенно холодно. Даже я, хотя и закутан в превосходный теплый мех, то есть в собственную шкуру, все же ощущаю эту осклизлую утреннюю мерзость. И всякий раз от души жалею Хозяина, вынужденного каждое утро голым бежать в ванную! Зачем это ему – никак не могу понять! Я же чувствую, как ему не хочется вылезать из теплой, нагретой за ночь постели, выскакивать в этот заиндевелый мир, да еще окатывать себя холодной водой, приплясывая и напевая при этом совершенно дурацкую песню: «Физкульт – ура! Физкульт-ура-ура-ура, будь готов!» Я понимаю, он просто взбадривает себя, пересиливает, а я всякий раз преклоняюсь перед его истинно человеческой волей, перед его всемогущим умением наступать на собственный хвост и при этом изображать бог знает что! Разумеется, я каждый раз ощущаю свою неполноценность, ведь ни я, ни кто-либо из моих собратьев не способен на такое. НО это неприятное чувство не мешает мне любить Хозяина. Правда, он не всегда разыгрывает из себя весельчака, особенно в последнее время. Тогда он встает медленно, сидит на тахте, закутавшись в дополнительную шкуру со странным названием «одеяло», сгорбленный, со всклокоченной на голове шерстью, и в глазах его такая тоска, что хочется подойти и погладить его по этой взъерошенной шерсти, и сказать на его человеческом языке что-нибудь доброе. НО, увы, я не умею успокаивать по-людски, только трусь и мурлычу, трусь и мурлычу, а он сидит, глядя в пространство, и молчит, и дышит тяжело, со свистом и скрипом внутри, а я ничем не могу ему помочь.

Но сегодня (я знаю!) он вскочит и помчится в ванную, и будет с ревом окатываться ледяной водой, и опять будет его дурацкое «физкульт – ура!», и наверняка он наступит мне на хвост и будет весело ругаться, а потом будет извиняться за пустой холодильник и за то, что ему нечем меня накормить. И скажет свое знаменитое: «Ну, подожди, Блохастый, потерпи до вечера. А уж вечером...». А вечером Хозяин притащит полную сумку вкусных вещей, потому как у Хозяина (и у меня, разумеется) сегодня большой праздник. Сегодня у моего Хозяина ПОЛУЧКА!

Очень немзыкальное название. И означает оно, что где-то там, очень далеко, в большом странном мире, где Хозяин живет и действует без меня, ему дадут сегодня целую кучу разноцветных бумажек, на которые он купит много вкусной еды. И сегодня вечером мы наконец-то после недельного перерыва, наедемся до отвала... Ну вот, зашевелился. Все, он встает!

## Хозяин

– Ч-ч-ч-ер-рт! Ну и холодильник в комнате! Мерзость! С-сволочи! Октябрь на дворе, а топить не желают! Не положено, видите ли... Моссовет не велит. А у тех, кто не велит, тоже такой холодильник в апартаментах? И-и-э-э-х-х! Физкультура! Физкульт-ура-ура-ура – будь готов! Когда настанет час бить клопов! И все границы ты запирай – правый край, левый край, не зевай! У-у-у-у! Ну и вода! Закаляйся, как сталь!

Блохастый! Опять под ноги лезешь? Мяу, мяу! Сам знаю, что мяу. Думаешь, мне мяукать не хочется? Только некому мне мяукать. Ну, нет у меня ничего. Нету! Видишь? Пусто в холодильнике. Нет у твоего хозяина денег. Да не смотри ты так. Потерпи до вечера. А вечером... Вечером я притащу тебе сюрприз. Сэпрайз, как говорят наши друзья-англичане. Вот где тебе была бы лафа. У них, в Англии, есть «Общество защиты животных». Да не лезь ты в чашку, дурень, чай ты все равно не пьешь. И хлеб ты жрать не будешь, знаю я тебя. Заболтался я с тобой, а время-то! Сегодня же проверку обещали! Все! Я бегу... Так. Плита. Есть! Вода в кране... Не закрывается... Опять слесаря-месаря вызывать... Так, ключи от квартиры. Ключ от кабинета? Здесь! Сумка. Проездной... Пока, Блохастый! Не скучай! До вечера... Ну? Как всегда. Лифт не работает. Этот, ясное дело, застрял. А этот? Ага! Едет! Только не туда. Ну, конечно, бабка-пенсионерка... Ей спешить незачем. Так. Назад поехали. Остановились. Сте-е-епь да сте-епь круг-о-ом, пу-уть далее-ек ле-ежит. О! Наконец-то! Мадам, какая приятная неожиданность! А я думал, бабка старая... Да я нажимаю, нажимаю! Я не болтаю, просто лифта зажался, а тут вы, яркая, как стрекоза! Почему нахал? Да выхожу я, успокойся! Да не боюсь я твоего мужа, выхухоль! Что, не трахали тебя сегодня утром? Да пошла ты... Вот собака бешеная. А с виду ну просто леди. Эх, женщины, где вы? Так, автобус поехал! Ну! Давай бегом! И-и-э-э-э-х! Фу-у... Все, успел! Поехали, шеф... У меня проверка на работе... Поехали!

## Картина вторая

### КОТ

#### «На улице дождик...»

...Вот захлопнулась за ним дверь, и опять впереди длинный тоскливый день, день без Хозяина. Раньше, когда я был совсем маленький, каждый день был для меня как ночлег в сугробе, и всякий раз я думал, что не доживу до вечера, так это было безнадежно долго. Потом я подрос и привык. Я понял – Хозяин не может все время сидеть дома, и даже не потому, что подобно остальным двуногим он должен работать, чтобы не умереть с голоду, и не замерзнуть, нет, не потому!

Мой Хозяин – бродяга. Он постоянно рвется куда-то, и я его понимаю, потому как я и сам такой же. Но... Хозяин уходит, а я остаюсь и жду. Иногда я думаю, что зря Хозяин не выпускает меня на улицу. Я понимаю – он просто боится за меня, боится, что я потеряюсь, не найду дороги к дому или меня задавит одно из этих мертвых, громоздких, испускающих грохот и зловоние существ, называемых «машинами». Хозяин боится меня потерять. Когда-то давно, когда меня еще не было, у Хозяина была другая жизнь. Что это такое, я представляю довольно смутно, только со слов Хозяина. Там была какая-то женщина, которой я обязан своей странной и обидной кличкой. Там был маленький человек – сын Хозяина. Там был просторный теплый дом и много полезных, нужных предметов и вещей. В той жизни не было у моего Хозяина хрипов внутри и отвратительного кашля по ночам, одышки и тоски в глазах по утрам, не было пустого холодильника и сырых, голых стен.

«Эх, Блохастый, – говорил он мне, – вот ведь все у дурака было. И хороший теплый дом, и женщина не хуже многих, и сын, милый сорванец, а дурак все искал чего-то, бродил по свету, думал – может, чего лучше есть... И набрел...». Что Хозяин имел ввиду, я тогда еще не понимал, только потом, когда случайно увидел, как Хозяин достал из стола одну фотографию. Но я не хочу вспоминать об этом. У меня остались какие-то смутные очертания, тени в памяти. Но что такое память? Это всего лишь человеческое слово, услышанное от Хозяина, как и множество других слов. И все же я помню то далекое ощущение тепла, исходившее от огромного мохнатого ковра, от таких же мохнатых стен, от высоких громоздких блестящих предметов, пахнувших чем-то приятным. И возглас маленького человечка: «Мама! Смотри! Котенок! Совсем маленький... Красивый какой!» Маленького человека звали Игорь. Людям почему-то обязательно надо давать всему, что их окружает, странные названия, которые совсем не отражают их сущности. Звуковое сочетание «И-горь» очень резкое, жесткое и совсем не подходило этому светлошерстому, доброму и веселому существу.

Мы с ним очень подружились, и от него я получил свое первое имя, очень мягкое и благозвучное – Тимофей. Да, это мое настоящее имя. А дурацким прозвищем «Блохастый» я обязан той женщине с резким голосом. Я почти не помню, как она выглядела, она была мамой Игоря, и вначале тоже обрадовалась моему появлению, но потом взяла меня на руки и увидела... Ну да, этих маленьких черных прыгунов, досаждавших мне тогда. Потом Хозяин полоскал меня в горячей воде с какой-то гадостью и вывел шустрых мерзавцев начисто, но дурацкая кличка прилипла, я стал не нее откликаться, привык, и теперь даже не обижаюсь. «Не обижайся, Блохастый, – шутит Хозяин, – так всегда и бывает на свете. Даже когда отмоешься добела, тебе всю оставшуюся жизнь будут припоминать юношеских мондавошек...»

Что он имеет ввиду, я не совсем понимаю, но, должно быть, это нечто неприятное. Если все это правда, то грустно жить на этом свете, но я все же надеюсь, что Хозяин просто, как он говорит, валяет дурака. В сущности он добрый и веселый, мой Хозяин, но снаружи это не заметно, особенно тем, кто его плохо знает. Это надо чувствовать! А люди, за редким исключением, потрясающе тупы по части чувств.

Даже эти милые, веселые и приятно пахнущие существа с музыкальными интонациями нежных голосов, которые время от времени появлялись в квартире Хозяина, в нашем с ним жилище. Может быть, поэтому мой Хозяин так одинок?

На улице идет мелкий частый дождь. С большой реки тянет запахом гнилого тумана и мне совсем не хочется сегодня на улицу. Вот весной – другое дело, но, когда она теперь будет, весна? Когда на улицы и дома ложиться такая серая безнадежная пелена, а внизу, в грязи, копошатся маленькие люди и мокрошерстые собаки носятся без толку, и каркают вороны, тогда мне хочется завывать подобно какому-то паршивому псу, или заплакать совсем по-человечески, как плакал маленький Игорь, обильно заливая щеки соленой водой. Однажды я лизнул его и узнал вкус человеческих слез. Но нам не дано такого освобождения от внутреннего горя. Мы можем только тихо жаловаться на жестокую судьбу, на равнодушие огромного мира, на тупую злобу двуногих.

На улице дождик... Как там мой Хозяин? Не обижает ли кто его? Его ведь так легко обидеть. Он только с виду такой грозный, а на самом деле... Да-а-а, пустовато в животе. Неплохо бы сейчас чего-нибудь съесть, рыбки там или кусочек мяса. Когда же он вернется?

## ХОЗЯИН

Уф! Как тяжело... Что-то я совсем стал сдавать. Всего-то квартал пробежал... Фу... Одышка... А ведь совсем недавно еще ничего такого не было. Бегал, как лось. Вот оно, деликатное предупреждение с того света. Время! Без двух минут девять! Давай! Интересно, кто сегодня на проходной? Опять этот придурок? Где пропуск? Слава богу, не забыл, а то не иначе, как со скандалом... Осторожно... Перекресточек у нас сумасшедший, постоянно кого-то давят... Ну, проезжай, проезжай, псих! Вот она, родная проходная! Здорово, чумной! На тебе пропуск, только от...бись! Питекантроп!

– Здрассьте, Зоя Ванна! Никак нет... Ну, как же? На моих ровно девять. На ваших две минуты десятого? Ну, раз на ваших, тогда конечно. Где уж нам с Вами спорить... Ну, вклейте выговор, и дело с концом! А я без иронии, как можно!..

– Здрассьте, Василий Лексеич! Да, застукала, швабра... Две минуты, подумаешь. Не переживайте, шеф! Ну, премии лишат. Да премия – тьфу! Одно название. А первого места нам и так не видать. Ну и хрен с ней! Что у нас сегодня? А-а, Верочка заболела? Грипп? Ясно... Анна Васильна придет попозже? Ребенка в садик? Понятно. А что с камерой? Опять? Вчера ж чинили! В техобслуживание звонили? А Соколов что сказал? Не может сегодня? А завтра? Да, он никогда не может! План горит? А где Малыш? Малыш, пойдем камеру чинить. Мастер не придет. А так! У господина Соколова поважней дела. Пойдем... У нас квартальный план горит... Да, не бойсь, справимся. Не боги горшки лепят... Ну, стукнет пару раз...Откачаем, не волнуйся! Да, шучу я, шучу. Я сам туда полезу, а ты страхуй, на случай чего... Я же все-таки инженер, зарплата на целый тридцатник поболее твоей. За риск. Ну, давай! Ничего, в армии будет хуже, так что готовься. Крышку держи! Ну, я полез, а ты поглядывай...

## Картина третья

### «Наш с Хозяином мир...»

#### Кот

...Как медленно тянется день. Хорошо еще, что на улице царит некоторое оживление, гуляют старушки с собачками, бегают маленькие двуногие, а вон медленно, тесно обнявшись, проходит пара двуногих постарше, он обнимает ее, и вот, когда я вижу такую пару, я почему-то всегда думаю о Хозяине, и мне становится обидно за него. Разве он хуже других двуногих? Но он никогда не ходит вот так, нежно обняв подругу. И ни одна из тех, кто был в нашем с Хозяином жилище, не прижималась к нему на улице, а так... на расстоянии, как будто стеснялись чего-то. Они стали появляться вскоре после того, как я появился на свете, Хозяин расстался с той раздражительной женщиной и с Игорем, и мы с ним переехали в этот высокий холодный дом на берегу большой реки.

Я помню это время, помню, как мы ехали с Хозяином в трясущейся большой машине, которая называется «грузовик», и грубые, чужие, плохо пахнущие двуногие пускали едкий дым мне в нос, а потом тряска прекратилась, и двуногие вместе с Хозяином таскали большие деревянные коробки и длинный упругий лежак, и тяжелую металлическую коробку, куда Хозяин кладет еду, и много приятно пахнущих краской и еще чем-то разноцветных, связанных вместе листов бумаги, покрытых странными значками, – эти предметы Хозяин называет «книгами», и еще много никчемных предметов, без которых люди почему-то не могут обойтись. А потом эти громко кричавшие вонючие двуногие исчезли, но Хозяин еще долго таскал, передвигал, раскладывал все эти вещи, мыл холодный скользкий пол нового жилища, выносил на улицу какие-то грязные палки, куски красных камней и тяжелые серые ошметки, напоминавшие собачий кал... А когда все кончилось и за огромным окном стало совсем темно, Хозяин вдруг сел в кресло, задышал громко и тяжело (тогда я и услышал впервые этот свист), открыл окно и, сидя в кресле шумно втягивал холодный воздух открытым ртом. Мне стало страшно, потому что я впервые увидел Хозяина таким! Я прыгнул к нему на колени и старался утешить, как умел, но в ту пору я был слишком юн и не понимал, что людям не всегда помогает наше мурлыканье. Люди не любят назойливого проявления любви. По крайней мере, мой Хозяин не из таких...

Но прошло время и в наше холодное голое жилище стали приходить они, эти шумные, веселые и ароматные создания, вносившие дух беспокойства в наш с Хозяином мир. Они приходили, такие все разные, высокие и маленькие, светлые и темные, пахнущие разными духами. Они старались понравиться Хозяину и поэтому ласкали меня (особенно старалась одна толстая блондинка, как вспомню ее – «Ах, ты мой Блохастенький!», так до сих пор передергивает). Все они садились за наш кухонный стол и восхищались тем, как Хозяин готовит мясо или жареную картошку с яйцом, натурально пожирали эти лакомства, не забывая угощать и меня, и за столом было весело, а потом они пили эту отвратительно пахнущую жидкость, от коей людям становится совсем весело и они становятся похожи на нас, четвероногих и хвостатых.

А потом они оставались у Хозяина на всю ночь, и это было самое скверное. Нет, я не осуждаю Хозяина, ведь он был так одинок, а я в то время уже стал понимать, что не в силах разбить ту звенящую пустоту, которая заставляет людей искать себе подобных. Но когда Хозяин в очередной раз выставлял меня в коридор, на пушистую подстилку, я задавал ему

один и тот же горестный вопрос – зачем тебе это, Хозяин? Ну, зачем тебе она, эта скользкая красивая змея, с хорошо спрятанными ядовитыми зубами? Или эта сытая похотливая хрюшка? Или вот эта, похожая на статую из белого камня, что на твоём столе? Или эта, вылитая красавица с обложки журнала, она же так и хочет вцепиться в тебя, как в кусок мяса! Неужели ты ничего не видишь? А для той, что живет на третьем этаже, похожей на кудрявую болонку, ты просто подушка, в которую ей хочется зарыться, когда рядом нет никого, более подходящего. Но Хозяин меня не понимал, а я не мог ему объяснить так, чтобы до него дошло. Ведь все мои горькие и гневные речи звучали для него только, как «мурр-мяу» или «мрр – мии», хотя этими, с точки зрения людей, примитивными сочетаниями звуков можно выразить так много...

Итак, они уединялись, и за закрытой дверью происходило черт знает что, хотя в ту пору я был еще совсем юн, не был знаком с Муркой и, конечно, не осмысливал происходящего. Но, когда на следующее утро Хозяин вылетал в ванну со своим «физкульт – ура!», а из комнаты появлялось изрядно потрепанное и помятое длинноволосое создание, тогда я вмиг понимал, чувствовал, что все это ненадолго, и безумно радовался, нет, мой Хозяин не даст себя обмануть!

И действительно, они уходили, исчезали из нашей жизни, и наши вечера текли спокойной чередой и, несмотря на холод, проникавший сквозь тонкие стены жилища, несмотря на густой дождь, хлеставший в окно, нам с Хозяином было хорошо. Обычно он сидел на лежанке, завернувшись в дополнительную шкуру, и читал мне вслух разноцветные книги и я, прижимаясь к хозяйскому боку (а что ни говори, дополнительная шкура – замечательная вещь!) внимательно бегал глазами по страницам, стараясь понять смысл черных значков и одновременно запомнить то, что читал мне Хозяин. Благодаря таким вечерам я теперь знаю и понимаю многие вещи, оставшиеся недоступными для многих моих собратьев. Я был счастлив, но все же не настолько глуп, чтобы не замечать той тайной, постоянной грусти, поселившейся в Хозяине. Иногда он не читал по вечерам, а сидел молча, уставившись в пространство, бормотал что-то. Какие-то обрывки фраз, непонятные мне. Иногда смеялся чему-то, нехорошо так смеялся, недобро. А однажды, придя домой поздно, рухнул как был, в верхней одежде, на лежанку и задержался, затрясся все телом, и я, уже знавший к тому времени, что это значит, терся об него и спрашивал: «Что случилось с тобой в том огромном и странном мире, от которого ты меня заботливо оберегаешь? Может быть, тебя обидела та недобрая женщина, мать самого замечательного малыша на свете? Или избили грубые, вонючие двуногие, вроде тех, кто привез нас сюда?»

Но мой Хозяин никогда не жаловался мне. Я понимаю теперь, что он не из тех, кто жалуется, а из тех, на кого жалуются. Люди, как и мы, извиняюсь, коты, делятся на разные породы. Я помню, как однажды он приполз домой весь в крови (я узнал его шаги еще у лифта, они были рваными, эти шаги, но я узнал их), он с трудом открыл дверь и, держась за стену, ввалился, а потом долго ворочался в коридоре, стонал, стягивая с себя одежду, и кровавые следы тянулись за ним всюду. Я тогда думал, что сойду с ума от ужаса, мне казалось, что Хозяин поворочается и застынет, как застыл во дворе глупый пес, попавший под одну из грохочущих людских машин, и я кричал, звал на помощь других двуногих (ведь есть же среди них и добрые!), но дверь была закрыта, да и кто отзовется на писк какого-то кота...

Но Хозяин выжил, отмыл кровь, и даже пошел на следующее утро на работу. Он живучий, мой Хозяин, почти такой, как и все мы. Правда, после того случая он заболел и долго кашлял, особенно по ночам. И вот тогда...

Я всегда начинаю волноваться, когда вспоминаю тот вечер. Тот вечер, когда впервые в нашем жилище появилась она. И, хотя с той поры прошло много-много времени и разные люди прошли перед моими глазами, сам я вырос и почти догнал Хозяина по возрасту (пять лет для кота – срок немалый), да и сама она нас покинула, но... Я буду ее помнить до тех пор, пока не придет и мой черед уйти из этого странного и удивительного мира, куда все мы при-

ходим не по своей воле. Это грустный разговор, и я не хочу об этом думать. А о ней я думаю часто, когда остаюсь один. У нее было удивительно музыкальное имя Ир-р-рина-а! Ир-р-р-а-а! Я сразу научился его произносить, и она радовалась, когда слушала меня. Она вообще хорошо понимала меня, иногда даже лучше, чем Хозяин. И вообще, она была удивительная! Почему Хозяин расстался с ней? Я все же никогда не пойму людей до конца. Что произошло между ними? Почему они не могли быть счастливы? Они же оба такие... Только я знаю, какие они на самом деле! Но... Беда стерегла их счастье. И я ничего не мог сделать для них. Моя маленькая мурлыкающая доброта оказалась бессильной. И всякий раз, когда я вспоминаю первый ее приход в наш холодный дом, непонятная боль пронзает мне левый бок, горло мое сжимается, и хочется заплакать совсем по – человечески...



## Картина четвертая

### «Мы не в Чили, господа...»

#### Хозяин

...Ну вот, получил денежки теперь можно жить спокойно. До будущей среды. У меня почему-то хватает для нормальной жизни только на неделю-полторы. Почему так происходит? Хотя чему тут удивляться, господа? Госналог, так называемый подоходный. По доходам, значит. Двенадцать пятьдесят – минус. Раз! Профсоюзу – рупь сорок. Отдай! Два. Хоть этот профсоюз – одно название. Что мне в нем? Мы же не в Чили, господа, не в каком-нибудь сраном Парагвае, зачем нам профсоюз, с кем бороться? Чьи права отстаивать? Но денежки все равно – будь любезен. Ну и, конечно же, алименты! От нашего стола вашему столу! Еще тридцатничек. И остается у раба божьего Александра сотенка. Стольничек. Вот и живи на этот стольничек, радуйся. Вкалывай и радуйся. Радуйся – не жалуйся. У нас нынче жалующихся не жалуют. Ты, здоровый мужик, не можешь денег раздобыть? И такое презрение в женских глазах загорается, только держись! Знаем мы эти деньги, назарабатывали в свое время. Далекие экспедиции, стройотряды, шабашки... Саяны. Карпаты. Алтай. Кольский полуостров. И соленая холодная водичка Баренцева моря. Все попробовали. И все ушло куда-то, как в худой мешок. Ничего не осталось, ни денег, ни здоровья. Вот сижу я тихо в самом глухом углу лаборатории, время – четыре часа, все потихоньку расползлись, кто куда. А я расслабляюсь и вспоминаю. Хотя и занимаюсь я в последнее время всякой херней, но все же, когда занят, не душат дурные мысли. А в такое затишье лезет в душу всякая дрянь. Сегодня утром тряхануло меня изрядно. Перед глазами черти запрыгали, у лаборанта моего крышка из рук от испуга выпала. Хорошо еще, что ботинки на резине. Ну, после посмеялись, конечно, а если задуматься... Если задуматься, то в случае чего, останутся после меня двое сирот, мой Игорь и мой кот, по прозвищу Блохастый. У Игоря на первое время есть мама, а вот у Блохастого, кроме меня, никого. Покричит – покричит и подохнет с голоду или же старушка какая сердобольная возьмет. Хотя нынче что-то плоховато стало с сердобольными старушками, повывелись они, как мамонты. Вот у нас в холле три такие старушенции – не приведи Господь! Мой котяра скорее удерет и будет шляться по помойкам, чем примет такое покровительство. Уж очень не любит он тоталитарную власть. Да... Сколько там натикало? Половина пятого. Ну вот, выключаем машины, потом профилактика, уборка и конец рабочему дню. И турне по магазинам. Ох, и накуплю я сегодня вкуснятины, черт с ним, снова живем! Торт, что ли купить? «Прагу»? А может, винца бутылочку? Да, как же! Купишь теперь. Про «Указ»<sup>2</sup> забыли, уважаемый гражданин Ульянов? То-то же! Не забыть бы про Блохастого, наверное, ждет не дождется Хозяина. Бедняга! Второй день без жратвы, куда это годится? Где-нибудь в Англии меня бы Общество защиты животных с дерьмом смешало. Но мы не в Англии, господа, мы в самой счастливой и солнечной стране. А посему коты у нас могут голодать сколько угодно, а ихние хозяева могут спать спокойно...

---

<sup>2</sup> «про Указ забыли...» – имеется ввиду Указ М. И. Горбачева об ужесточении продажи спиртного в СССР.

## Кот

...За окном темно. За окном мрачно. На реке свистит ветер, раскачивая тонкие деревья, совсем лишенные листьев. В такую погоду я думаю о моих бездомных собратях с жалостью и радуюсь, что у меня есть Хозяин. Я не люблю называть его по имени, оно, мне кажется, совсем не отражает суть его натуры. Для меня он – Хозяин, и этим все сказано. Может быть, есть на свете хозяева и лучше и добрее, чем он. Может быть, есть хозяева более устроенные? Может быть. Может быть, есть на свете коты, живущие более сытно и уютно? Может быть. Но мне с моим Хозяином, хотя и было не всегда уютно, и не было у нас комфорта, как у Мурки, моей бывшей супруги, и не баловал он меня лаской, разве что погладит иногда. НО вспоминается мне одно отвратительное зимнее утро, когда в доме было пусто и холодно, и было пусто в белом металлическом ящике, где хранят продукты, и пусто до судорог было в моем животе, и как Хозяин, больной и желтый от голода, встал с лежанки и достал мягкий, синий с белым мешочек, где оставалось немного молока. Я плакал совсем тихо, ни на что уже не надеясь, потому что это молоко было для Хозяина. Ему необходимо было горячее молоко, и я ушел в угол, чтобы не видеть этого, но Хозяин достал из другого мешочка немного жесткого хлеба и, мелко крошив, залил хлеб последним молоком в моем блюде. «Вот, Блохастый, ешь, это тюря. Другого ничего нет, ты уж извини». Вот так он сказал и ушел в комнату. А я... Я жадно глотал все это, еще не веря своему счастью, а Хозяин ворочался на лежанке и кашлял все сильнее, и мне становилось стыдно по мере того, как наполнялся мой желудок. Наевшись, я пришел к Хозяину и лег, стараясь согреть ему грудь, чтобы проклятый кашель не рвал его изнутри.

А что я еще мог сделать? Но то утро осталось со мной, и что бы ни говорили эти двуногие, приходившие в наш дом, – и молодые хищницы, сбросившие нежно-фальшивые маски, и вонючие, грубо хохотавшие особи мужского пола, и одетые в синюю форму двуногие, перед которыми дрожали противные старухи в нашем дворе, и все они разговаривали с Хозяином грубо и слова их были злыми, и все им почему-то хотелось, чтобы мой Хозяин испугался и попросил у них что-то или что-то им отдал, но он не испугался, не дал и не просил. И все они в конце концов ушли, сказав на прощанье: «Вот видишь, какой у тебя хозяин? Бедняга ты, бедняга...»

Но что бы они все ни говорили, я ни за что не продам своего Хозяина за это отвратное слово «комфорт». Знаем мы этот комфорт, нюхали и хлебали его досыта!

Однажды, еще прошлым летом, когда наша Хозяйка И-р-р-и-на уже покинула нас, он отвез меня далеко от нашего дома, от вонючей грохоты машин и массы суетливых двуногих, мешающих друг другу жить, как он говорил – «на дачу». Там было много-много зеленой и вкусной травы, там были большие деревья и густые кусты, разные приятно пахнущие цветы, пестрая живность, и все это ползало, летало, шелестело под ветром, благоухало и пело на все лады, дурманя мою голову. Это было как прекрасный, забытый сон из детства и, если бы мой Хозяин остался там со мной! Но ему надо было уезжать в какую-то непонятную мне «экс-пе-ди-цию». Он неисправимый бродяга и не остался, хотя я просил его так жалобно, что мог бы растрогать и самого свирепого бульдога.

Он уехал и оставил меня наедине с хозяином и хозяйкой этой дачи, где был комфорт. Что это такое, я уже знал со слов моей Мурки, когда она соблазняла меня бросить Хозяина и уйти жить к ним, в четырехкомнатную квартиру со всеми удобствами. Но я так подумал, что мне, обычному полосатому «крысолову» там делать? Да и Мурка больно важничала, я, мол, сибирских кровей, хозяева мои в Египте пять лет прожили, и в доме у нас все есть, а Хозяин твой – голь и рвань, и что он может тебе дать, кроме рыбьего хвоста, и вообще, таких надо гнать из Москвы. Это она со слов своих хозяев такое выдала. Я, понятно, на нее не обиделся, что возьмешь с глупой бабы, но Хозяина я не предал и комфорт этот возненавидел заранее.

Так вот, на этой самой даче было все, как и в городском доме, – и блестящая, вся в зеленом камне, ванная с горячей водой, и зеркала во всю стену, и два огромных ящика с цветными скачущими и вопящими изображениями, в которые так любят смотреть люди по вечерам, и огромных размеров белый металлический шкаф, который люди называют «холодильником», с разнообразной и вкусной едой. Полы во всех комнатах были покрыты мягкой шерстью, а в холодные дни весь дом обогревался специальными устройствами, которых я никогда не видел у Хозяина. И все же там мне было плохо и холодно, потому что, всякий раз, когда милая и пахнущая хорошими духами хозяйка давала мне очередную порцию мяса или хозяин, пожилой двуногий с блестящей головой и удобными толстыми ляжками позволял мне взбираться к нему на колени, то они обязательно при этом говорили: «Вот видишь, как тебе у нас хорошо... Не то, что у твоего полоумного хозяина. Ты ел что-нибудь подобное? Сидел ты когда-нибудь в таком кресле? Смотри – это цветной телевизор. Видишь, джунгли показывают? А это твой дикий собрат крадется, тигр. Знаешь, что такое тигр? Совсем как ты, только раз в десять побольше, ха-ха-ха!» И они так властно поглаживали меня по шерсти, как бы показывая, что имеют на меня особое право. Еще бы! Они милостиво согласились содержать меня, пока Хозяин где-то бродит. Они кормили меня такими деликатесами, которые и не снились моему Хозяину, обращались со мной вполне ласково и принципиально не называли меня «Блохастым», а исключительно – «Тимофей», но... НО когда их руки так самодовольно-властно прохаживались по моей спине, я жалел, что я не в десять раз больше! И однажды я сбежал.

Я зажил отчаянной дикой жизнью бродячего кота, я шлялся по гнусным вонючим помойкам, я ел отбросы, после которых меня выворачивало, я дрался насмерть с беспощадными, одичавшими моими братьями, никогда не знавшими человеческой ласки. И я любил совсем не похожих на холеную Мурку уличных подружек, драных и несчастных, то милых и запуганных, то коварно-злых. У меня появился старший товарищ, рыжий одноглазый кот Василий, видевший в людях только врагов, веселый циник и бесстрашный боец, многому меня научивший. Как-то я рассказал ему о Хозяине, он понимающе усмехнулся и сказал: «Среди этих двуногих паразитов твой старикан – редкое явление. Он такой же бродяга, как и мы, уличные коты. Но если среди нашего брата быть свободным уличным бродягой – доблесть, то среди двуногих это занятие кажется странным и подозрительным. Таким, как он, трудно живется среди людей».

Василий был прав. Я и сам это чувствовал, а когда оказался в гостях у «комфортной» пары, понял до конца. Я не осуждал Хозяина за его странную любовь к таинственным «экспедициям», потому что и сам почувствовал прелесть такой жизни. И, наверное, я бы остался с Василием и другими бродячими певцами ночных улиц, если бы не неожиданный и страшный случай.

Дело в том, что к нам с Васькой прибилась очень миловидная юная кошечка, почти котенок, очень деликатная и очень голодная. Ее хозяйка уехали с дачи и бросили ее, привыкшую к комфорту, одну в обезлюдившем поселке. Мы с Василием решили опекать ее и научить хитростям бродячей жизни, лето подходило к концу, и впереди маячила голодная суровая зима.

Неделю мы жили среди помоек, но людей в поселке становилось все меньше, уменьшалось и съедобное содержимое помоек, а наша Сиамка (так звали кошечку) смотрела на нас так жалобно, что Василий сказал однажды: «Хватит копошиться в этой вони, как какие-то старые псы. Пошли, я знаю одно хорошее место...» Это хорошее место оказалось курятником, где, по словам Васьки, были подростки за лето упитанные цыплята. Вначале все шло нормально, мы придушили троих и потащили добычу к выходу, где ждала Сиамка. Но вдруг тихий двор огласился хриплым лаем (проснулся старый цепной пес), вспыхнул в окнах свет, загремели голоса людей, а дальше... Дальше было какое-то мельканье страшных теней, надрывный лай, отчаянный последний крик Сиамки, рванувший мое сердце... и я повернул назад, несмотря на жуткий страх. Но что-то ударило сзади по лапам, обожгло спину, перед глазами

в потоке света мелькнул Василий и кто-то огромный, хохочущий, схватил меня за лапу и рванул вверх. Боль разодрала меня снизу доверху, и закружились деревья, и земля встала дыбом и... я вгрызся в эту огромно-беспощадную руку и извернувшись, драл ее когтями, а потом вдруг стало необычно легко и я, перевернувшись в воздухе, улетел в спасительные кусты и понесся прочь от этого страшного места, через непонятные темные преграды, а сзади догоняло что-то режущее на разные голоса. Я несся через канавы, сквозь рваные дыры в заборах, метался в чужих переулках, пока не ударил в нос знакомый запах и я, влетев на внезапно ставший мне родным кусок земли, отгороженной забором от враждебного мира, не увидел хозяев дачи, мирно пивших свой вечерний чай на веранде.

Что и говорить, они обрадовались мне, ведь они обещали Хозяину, что со мной все будет хорошо. Они были в сущности не так уж плохи, эти пожилые двуногие, и хозяйка радостно причитала и охала над моей разбитой лапой, и кормила меня сметаной, а хозяин что-то добродушно ворчал насчет какого-то «блудного сына» и чесал меня за ухом.

А потом мы все вместе смотрели большой ящик с цветными пляшущими фигурками, и было тепло и тихо, и мой отягченный вкусной едой желудок убаюкал, загнал вглубь весь случившийся кошмар. Я задремал на толстых коленях, забыв обо всем. И только боль, внезапно задержавшаяся в забинтованной лапе, вырвала из сна, пронзила мое сердце и заставила прыгнуть с теплых колен в поисках выхода. Как я мог забыть? О последнем крике нашей Сиамки? Об издевательском смехе двуногих? Ведь она звала меня в надежде на избавление! Как я мог мурлыкать от сытого довольства, когда та же жестокая рука в это время, может быть, стискивала горло моего отчаянно-смелого друга Васьки? И новое, незнакомое, странное чувство давило сверху, заставляя метаться по комнатам в поисках открытой двери. И вспомнился голос Хозяина: «Стыдно, Блохастый... Понимаешь? Стыдно». Он сидел на тахте, освещаемый маленькой зеленой лампой и, вытирая слезы, все повторял: «Стыдно... Понимаешь? Да, где тебе... Ты же всего-навсего кот...» И вот теперь мне вспомнилась та давняя сцена, и его отчаянье, которого я не понимал тогда, а сейчас вдруг ощутил всем существом среди этого теплого диванного уюта.

И тогда я, не обращая внимания на крики хозяйки и удивленную воркотню хозяина, прыгнул в открытую форточку и побежал прочь, в темноту. Что было дальше? Враждебная темень улиц, дождь, шорохи и скрип деревьев, и проснувшаяся боль в задней лапе сделали свое дело. Я вернулся и лег на мягкий коврик у кухонной двери, презирая себя и весь свет.

Хозяйка со словами: «Ну что, дурачок? Нагулялся и хватит. Теперь лечиться надо», — поставила рядом блюдце с молоком и ушла. А я остался наедине с этим новым непостижимым чувством, чисто человеческим чувством стыда.

И до самого приезда Хозяина, хотя лапа моя зажила, я больше не мог выходить на улицу, потому что заманчивый прежде ее изгиб, скрывающийся за поворотом, напоминал мне о той свободной жизни, которую я предал, испугавшись один единственный раз. Хозяин, конечно, забрал меня с той комфортной дачи, недоумевая, почему я так плохо выгляжу и вообще одичал. Он усиленно кормил меня дома сырым мясом (непростительная роскошь!), добавлял в молоко яичный желток и какие-то «витамины», и все спрашивал: «Что с тобой случилось, Блохастый?» А я даже ему не хотел ничего говорить, да он бы и не понял моего «мр-р-р — м-ми-и».

Я уже стал замыкаться в гордом одиночестве, но потом Хозяину стало в очередной раз плохо, он валялся на лежанке и тяжело, со свистом, дышал. Я пришел к нему и лег рядом, пытаюсь согреть (в доме опять не топили), а он погладил меня по шкуре, и рука его нащупала мою поврежденную лапу. «Вот оно что... И тебя жизнь зацепила, — сказал он, — а я все думаю, чего ты стал такой пугливый? Ты привык, что человек добр. А того ты не знал, что человек-то добр, да люди злы».

А я, прижавшись к его боку, мурлыкал, как прежде, и все хотел спросить Хозяина, почему он расстался с Ир-риной, но что-то удерживало меня, наверное, сознание того, что после этого

лета я стал понимать Хозяина лучше, чем он меня. Постепенно я отошел от случившегося, но мой гордый друг Василий и несчастная Сиапка остались со мной и приходят с тех пор в мои сны, печальные и тревожные сны.

Теперь я понимаю, почему Хозяин во сне разговаривает...

За окном темно. За окном свистит ветер. За стеной, в коридоре гремит лифт. Это двуногие возвращаются домой с работы. Кажется, прошла целая вечность, а Хозяина все нет. Сегодня у него получка. Это значит, что у нас опять будет много вкусной еды. Я очень голоден, но я терплю, потому что знаю – придет Хозяин и накормит меня. И еще потому, что на свете есть вещи страшнее голода. Ну когда же он наконец придет!?

## Картина пятая

### «С правдой жить – голодным остаться...»

#### Хозяин

...Итак, уважаемые дамы-господа, как говорят наши друзья из ГДР<sup>3</sup>, абгемахт! Выключаем свет, закрываем окна-двери, и конец рабочей неделе! Давайте, девочки, до свидания! Алла, не забудь курицу в холодильнике! Леночка, солнышко, выключи проявку. Уже? Ну, молодец! Мужу привет! Все, уходим... Уходим. Ушли. Наконец-то! Можно тихо посидеть одному, сосредоточиться. Еще одна сумасшедшая неделя позади. Раньше я считал жизнь днями, теперь – неделями. Если так дальше пойдет, то быстренько прикатим к финалу. «И всех нас гроб, зевая, ждет...» Н-да!

Мне сегодня наш бухгалтер подлил масла – «Сашенька, – говорит, – жизнь такая мгновенная вещь, спешите раздавать подарки». Хороший он мужик, Соломон Исаич, я сегодня со всем этим дурдомом совсем про деньги забыл, так он позвонил, напомнил, зайди, мол, Александр Викторыч, получи без очереди. Я вообще-то не люблю без очереди, но раз приглашают. Соломон со всеми вежлив, но ко мне питает чего-то... Я даже знаю причину. Как-то после работы помог ему вынести за проходную здоровенную коробку с деревяшками (ему ребята из «слесарки» сделали) для дома, для семьи. Я шел домой и видел, как он, задыхаясь, прет эту коробку один, а у мужика четыре года войны за плечами и инфаркт. Я и говорю, давайте, Соломон Исаич, чего вы один надрыгаетесь. Ну и вынес на улицу, а он сзади – вы не подумайте плохо, мне на дачу надо полочки для книг, и робко так, будто я из народного контроля. Я разозлился, конечно, но не на его робость, а на свою развязность и не тетю Феню, как назло торчавшую в тот день на проходной, и на дурацкую систему, заставившую инвалида войны таким образом доставать себе тот минимум удобств, который его западный ровесник имеет при помощи телефонного звонка. Короче, когда тетя Феня все же заорала на проходной что-то там о партийной совести, о честности и «несунах» – расхитителях народного добра, я ей выдал по первое число. Обо всем и про всех. Да так, что она застыла на своем металлическом стуле с разинутым хайлом, а мы с коробкой и Соломоном гордо прошествовали мимо.

Вот с той поры Соломон со мной особенно приветлив, по-человечески, хотя что я такого сделал? Всего-то допер коробку до «Трех вокзалов», да тете Фене напоследок, интимно так, на ушко, сообщил: «Если ты, выдра старая, про это кому-то шлепнешь, то у дочки твоей будет желтая жизнь». А ее Ленка как раз на моем участке трудится. Разгильдяйка, каких мало даже в нашем милом отечестве. Просто жалко мне нашего Соломона. Всю жизнь мужик вкалывал, на войне в разведроту воевал, три ранения, пять орденов, куча медалей, у нас в объединении двадцать шесть лет везет на себе всю бухгалтерию, ударник комтруда и все такое, а тут две дочки с зятьями и детьми взяли – и в Израиль! Он всю жизнь в них вложил, дачный участок приобрел, а они решили по-своему. Так его же еще и в партком таскали<sup>4</sup>, и партбилет извольте

---

<sup>3</sup> ГДР – Германская Демократическая Республика, до 1989 г. – восточная зона Германии, находившаяся тогда под контролем СССР в так называемом социалистическом Содружестве стран Восточной Европы.

<sup>4</sup> Партком – партийный комитет, в СССР на каждом производстве, НИИ, школах, вузах, колхозах существовали комитеты партии, осуществлявшие политику Компартии СССР и идеологический надзор над трудящимися. Власть компартии отменена при распаде СССР в 1991 году.

на стол, и с главбухов сняли! Довели мужика до инфаркта, суки партийные. Умеют у нас мордовать людей за чужую вину, что и говорить.

Но я удивляюсь, до чего же он живучий мужик! Вот, кажется, все у него прахом пошло: дети с внуками уехали, жена умерла год назад, на работе неприятности и инфаркт в таком возрасте. Вся жизнь накренилась. А он держится, улыбается людям, нашим дурам-бабам советы дает, как мир в семье поддерживать. Мне сегодня про подарки сказал, и глаза у него голубые и безмятежные, как у благополучного ребенка.

Я, когда смотрю на него, говорю себе – ничего, Саня, не жалуйся на жизнь, вот мужика так долбануло, а он стоит себе спокойно, да еще и других утешает, а что у него впереди? То же, что и у всех нас. И, глядя на Соломона, я ощущаю внутри спокойствие и силу. Хочется жить, действовать, делать подарки... Да, кстати! Надо бежать! Время... Надо успеть пробежаться по магазинам, а то приезжие гости Москвы все растаскают. У меня в кармане ровно шестьдесят.<sup>5</sup> Получка... Пятнадцать с копейками – за квартиру. Пять рубликов – ремонт ботинок. Белье в прачечную – трояк. Еще за электричество не меньше пяти. Итого на жизнь остается тридцатник. На две недели. Нормально. Бывало, я и на пятерку неделю существовал, и ничего, выжил. Когда-то, в далеком детстве, в нашем дворе был такой Миша Двоенков, инвалид, контуженный под Ельней, так он часто мне говаривал: «Ты, Санька, честный очень. А это вить плохо в нашей жисти, да. В нашей жисти надо и своровать уметь, и чайником прикинуться. А ты все правду норовишь в глаза сунуть. А правда – что лук репчатый, на укус крепка и глаза ест. С правдой жить – голодным остаться. Вот вить какое дело».

Все, довольно воспоминаний! Я гашу свет в отделе и выхожу, захлопнув дверь. Мне надо успеть в три магазина. На электронных часах у выхода ровно восемнадцать пятнадцать. В моем кармане ровно шестьдесят. Я куплю мяса, картошки и луку для жаркого. И еще недорогой тортик, если повезет. И Блохастому рыбки взять. Гастроном на Пресне закрывается в девять, но там много народу. Магазины на Шмитовском проезде в это время почти пуст, но закрывается в семь. А в нашем районном универсаме в это время уже ничего нет. Жаль, что воровать я так и не научился. Ну что ж, вперед за добычей, великий бледнолицый охотник!

---

<sup>5</sup> «у меня в кармане ровно шестьдесят» – речь идет о зарплате служащего НИИ в эпоху СССР, до инфляции 90-х годов.

## Картина шестая

### «Хозяйка Ир-р-р-и-и-на».

#### Кот

...Я не люблю одинокие вечера без Хозяина. В последнее время, после того, как Хозяйка И-и-р-ра исчезла из нашего дома, он опять стал пропадать вечерами неизвестно где. Впрочем, известно! С возрастом я стал понимать многое, и вид Хозяина, появляющегося на следующий день к вечеру, никогда меня не обманывал. Хорошо еще, что его нынешние подружки больше не появляются здесь. Наверное, ему все же больно видеть их здесь, после исчезновения Иры. Я его понимаю. Да разве может какая-либо из двуногих самок равняться с ней? А как она пела!

Я помню многие ее песни, например, вот эту: «Идет бычок, качается, о чем ему мечтается, наверно, позабыли мы слова...». Или вот эту: «Ты – мое дыхание, утро мое ты ранее...». Или вот, еще: «Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал...». Смешная и грустная песенка. Хозяину она очень нравилась. Хозяин вообще странно относился к ее пению. Внешне он даже иногда сердился на Иру, ворчал, что она мешает заниматься ему какими-то делами, и, что по вечерам в доме должно быть тихо, так как он устал за день на работе и так далее. Но я-то чувствовал, что на самом деле ему нравится ее пение и песни, которые она поет.

Я даже думать о ней в прошедшем времени не могу! Когда остаюсь один, так мне слышится ее голос и кажется, вот открою лапой дверь на кухню и увижу, как сидит она в кресле, положив одну ногу на табурет, в руках гитара, этот странный человеческий инструмент, издающий волнующие звуки, и поет одну из своих любимых песенок. И, увидев меня, скажет: «Блохастый, опять жрать хочешь? Ну, сейчас, дай доиграю». И я покорно ждал, пока она допоеет, а потом она наливала молока в мисочку и говорила: «Пей, а я сыграю тебе мое сочинение...». Да, она сама сочиняла песни и пела их мне, потому как Хозяину ее собственные песни не нравились почему-то. А мне очень нравились, особенно одна, очень мелодичная, и пела ее Ирина на каком-то непонятном языке (это очень древний язык, Блохастый!) А потом все кончилось, и она, моя единственная хозяйка, исчезла.

Перед этим была жуткая неделя. Они все время ссорились, как это принято у двуногих, «выясняли отношения». Какие отношения? Зачем? Я метался между ними, пытаюсь понять, что им нужно, чувствуя, что весь наш теплый маленький мир разваливается, уплывает куда-то... Я плакал, терся об них, мурлыкал, стараясь заглушить, успокоить этот звенящий в пустоте комнаты крик. Но я был бессилен перед невидимой стеной, разъединившей их так безнадежно и страшно. Я был бессилен...

И она, Ирина, сразу стала чужой и холодной, как белый металлический ящик на кухне. А потом наступило то утро, когда Хозяина не было дома. Она молча собрала свои вещи, всего две сумки (в одной из них она возила меня на дачу), потом сидела на лежанке и долго плакала, а я надеялся, что, может быть, все еще обойдется. Но она встала, взяла вещи, свою гитару в кожаном чехле, погладила меня на прощанье и... Только когда за стеной загремел лифт, я понял, что она уже не вернется, хотя весь долгий день и вечер я ждал, ждал...

Хозяин пришел на следующий день к вечеру, поздно. От него сильно и неприятно пахло, его шатало и, забыв меня покормить, он рухнул, как был, в грязной одежде, на свой лежак и завыл, как последний подзаборный пес. Я сидел и смотрел на него, боясь и жалея, но успо-



коить его, как прежде, мне не хотелось. Как бы я ни любил моего Хозяина, я не мог простить ему Ирину. С ней из дома ушло что-то такое, чего я не могу объяснить (ведь я всего-навсего кот, черт возьми!), но вот это ощущение, как будто в нашей комнате разом зажигалось много-много разноцветных лампочек, когда она врывалась в квартиру с радостным криком: «Сашка! Блохастый! Я пришла! Идите скорей меня целовать!» Разве это можно передать скудным человеческим языком? Даже на нашем, кошачьем, это трудно, а уж он-то несравненно богаче!

Через два дня Хозяин оклемался. Было воскресное утро, он принял горячий душ, побрился, покормил меня сырой рыбой и сел завтракать. Он нехотя жевал гренки, тупо уставившись в экран развлекательного ящика, но мысли его были далеко. Он был какой-то весь посеревший, обвисший, равнодушный ко всему и я прыгнул к нему на колени, чтобы немного согреть. Я знал, что у него не осталось надежды, а для человека это, пожалуй, самое тяжелое. С той поры он часто повторял одно и то же: «Вот, Блохастый, никого у меня на свете нет. Только ты у меня остался. Как жить будем, а?» Конечно, Хозяин не прав – кроме меня, у него есть еще сын, Игорь, правда, в последнее время он стал приходить все реже, а во время последней болезни Хозяина он не пришел ни разу, но все же сын есть сын, что бы ни случилось.

У нас с детьми проще, чем у двуногих. Взять хотя бы нас с Муркой. Мурка родила от меня пятерых котят, двух девиц и троих парней, я их так ни разу и не видел, только слышал краем уха от Хозяина, что девчонки характером вышли в меня – такие же активные непоседы, а мальчики – в мать, ленивые разгильдяи. Но я не переживаю за своих детей, да и Мурка никогда не предъявляла мне никаких претензий. В этом вопросе у людей гораздо все сложнее. И всякий раз, когда я мысленно ставлю себя на место Хозяина, я изумляюсь его терпению, выносливости, наконец, его воистину человеческому умению найти в себе силы и жить дальше. Из нашей породы никто бы так не смог, не говоря уж о мерзкой собачьей породе.

Правда, когда Ирина ушла от нас, мой Хозяин очень изменился. Он часто разговаривает сам с собой или сидит, подолгу уставившись в пространство. Он забывает оставить мне еду, когда уходит из дому, а однажды я застал его на балконе, когда, перегнувшись через низкую для него загородку, он пристально смотрел вниз, где ходили маленькие люди, и меня вдруг охватил дикий страх, как тогда на комфортной даче, когда я ощутил хватку беспощадной руки. Тогда я уже знал, что у людей есть и такой способ прервать свое существование, я закричал: «Хозяин! Стой! Я здесь, Хозяин!» Но он не собирался ничего делать с собой, он потрепал меня по шкуре, почесал за ухом и рассмеялся со словами: «Ты чего разорался, кот? Со мной все в порядке и состязаться с Икаром я не собираюсь». Кто такой этот Икар, я не знаю, наверное, кто-то из приятелей Хозяина, у него куча ненормальных приятелей из этих таинственных «экспедиций», и все они обожают рискованные аттракционы. Но у Хозяина, слава богу, трезвая голова, и это меня успокаивает. Во всяком случае, сам он из этой жизни не уйдет...

Все-таки уже довольно поздно. За окном мрак. На реке свистит ветер. Господи, как давно это было! Утро... Хозяин с криком «физкульт-ура!» брызгается холодной водой... В том огромном мире, куда он все время уходит, так много злых безжалостных двуногих... Теперь, когда я знаю это очень хорошо, я волнуюсь гораздо сильнее, чем когда я был котенком. Почему он всегда так поздно возвращается? Даже в такой день, как сегодня! Почему он не может, как другие двуногие, – чинно, спокойно, вовремя? Разве это так трудно – прийти домой вовремя? Почему он никогда не думает, что у меня тоже есть нервы? Ч-черт! Впору хоть вальерянки тяпнуть! Стоп... Кажется... Да! Лифт остановился. Все! Его шаги... Шаги моего Хозяина. Ну наконец-то пришел! Живой и невредимый! Сейчас... только ключ в замке повернет и...

## Картина седьмая

### «Внутренняя свобода».

#### Хозяин

...Медленно движутся навстречу фонари. Противный неестественный свет делает лица прохожих трупно-бледными, напоминает о морге. Вокруг все пропитано сыростью, холодом и мраком. В такую погоду даже разноцветные огоньки больших домов, близкие и далекие, кажутся ледяными, как арктические звезды, от них веет не домашним уютом и теплом, а какой-то потусторонней марсианской жутью. Левую руку, до рези в ладони, оттягивает набитая доверху сумка с провизией. Вокруг царит холод, но тяжесть сумки согревает душу и тело. Я иду. Иду домой. Иду к остановке троллейбуса, ощущая одновременно удовлетворение, усталость и... раздражение, перетекающее временами во вспышки бессмысленной ярости.

Удовлетворение? Усталость? Раздражение? Что за жалкие словечки? Старье... Может быть, когда-нибудь в будущем придумают новые беспощадные слова для всего этого безобразия. Я отработал сегодня с девяти до восемнадцати, отстоял четыре очереди в двух магазинах, купил все, что наметил, и все это в пятницу вечером, да в день всероссийской полочки – это ж можно сказать, героическая эпопея, граждане. Вина, правда, не достал. Но и без вина можно, оказывается, прожить. Как наш Первый Секретарь<sup>6</sup> сказал – «А вы не стойте в очередях!» Вот я и не стою. Но, ничего, главное, кот сегодня не будет у меня голодным. И еще целую неделю. На пятнадцать рублей товару накупил и тридцать пять в кармане. Ну, вот, кажется, остановка. И троллейбус подкатил! Давайте, граждане, поднажмем... под... нажж... у-ухх... Х-хоро-шо-о! Ти-хо! Коробку помял! А я что, нарочно? А меня не давят? Да, пошел ты... Козел хренов! Ну, стукни... Да, что вы на меня кричите, мадам? Я-то спокойный, это он дергается... Ладно, заткнись, гусеница! Все!.. Тишина какая в салоне, все слушают, всем интересно.

Опять нервы не выдержали. Что со мной такое в последнее время? Раньше я бы и внимания не обратил на пьяного кретина, пихающего меня в спину. Толчая, час пик в столице, тут надо быть кротким и терпеливым, как Христос на Голгофе. Терпению нас учат с детства. «Вынесет все и широкую, ясную – грудью дорогу проложит себе... Только вот жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Хорошо сказано. «Память у тебя хорошая», – говаривала мне когда-то учительница русского языка, Надежда Иванна. Да кому нужна моя память? Помню, мама с папой вздыхали – он у нас гуманитарий. Трудно ему придется в наш суровый век техники... физики... химии... космоса... Зачем тебе эта история-литература-зоология? Будь как все!

Вот и стал сыночек инженером. Радуйтесь, папа-мама, радуйся родная страна! Что там за остановка? «Мелькомбинат»? Долго еще ехать. А вот и место освободилось. Наконец-то сию. Сумку на колени... Тяжелая, зараза. Можно расслабиться. Место у окна – хорошее. Можно не суетиться и не отворачиваться, когда в салон входит бабка, трясущаяся от прожитых лет или мамаша с дитем. Нехорошо, конечно, так рассуждать, но что поделаешь, когда позади сумасшедшая неделя с извечной толчеей, руганью, нервотрепкой на работе, стоянием в очередях и всей этой судорожной погоней за жалкими крохами, за кусок мяса, за местечко

---

<sup>6</sup> «наш Первый секретарь говорит» – речь идет о фразе М. С. Горбачева по поводу запрета на продажу спиртных напитков (антиалкогольная реформа 1985 г.)

под солнцем? А эти вечера, проведенные возле телевизора в тщетной надежде, что тебя отвлекут от ежедневной рутины, от давящих душу мыслей и покажут с экрана нечто такое, чего отродясь не видел, – возвышенную любовь или фантастические приключения графа Калиостро, или просто веселую комедию, так нет же! Смотри программу «Время», деревенские детективы и прочую дребедень...

А утром снова окунаешься в эту ежедневную свистопляску, и крутится, крутится колесо твоей жалкой жизни, пока глупый случай или само течение времени не остановит его. Что это там? А-а, Новозаводская улица. Еще ехать и ехать. Не люблю эти вечерние возвращения домой. Едешь и все думаешь, думаешь... Зачем думать? Уже все давно за нас придумано. Как сказал этот мудрый израильский царь? «Нет ничего нового под солнцем». А эти все вокруг меня? Тоже уже все поняли. Поняли и молчат. Интересно, о чем они думают? Вот этот пожилой в шляпе, сидит, уткнулся в газету. Или этот, наверняка инженер, с такой же неподъемной сумкой, тупо смотрит в угол. Или эти тетki с кошелками, замотанные каждодневной советской действительностью, сейчас придут домой и начнут варить, стирать, проверять уроки, ругаться с мужьями... Мне хорошо, я одинок и на меня не вешают проблемы мои ближние, не орет жена и не пилит теща. На сорок втором году жизни я стал наконец свободным. Разумеется, это только внутренняя свобода. Ибо ни о какой внешней свободе говорить не приходится. Но разве не о такой свободе вещал в свое время Лев Толстой? А Ницше с его свободой воли? Разве не о таком варианте писали, потев и задыхаясь, все эти сократы-вольтеры-монтескье? Свобода – осознанная необходимость? Чудненько! Вот я, осознав необходимость своего существования, сделался вполне свободен внутри себя. Радуйтесь и аплодируйте мне с того света, господа философы и мыслители. А почему, спросите вы, мое существование так необходимо? А потому, что я крайне необходим моему Коту, по кличке «Блохастый», ибо без меня это милое существо просто погибнет в этом жестоком мире, а этого допустить никак нельзя. Так как всякое божье творение имеет право на жизнь и, как говорил тот же Экклезиаст: «Нет у человека преимущества перед скотом»... Ну вот, уже «Обувной магазин» проехали, значит, скоро конечная. Влечу на лифте на девятый этаж и... встретит меня радостный вопль моего Блохастого. И более никого. А совсем недавно, стоило позвонить в дверь – вылетала навстречу Она, кидалась на шею, шекотала пушистыми космами, целовала: «Сашка! Пришел наконец-то! Раздевайся! Есть будешь?»

Как это все быстро прошло.

Помню, как пришла Она в первый раз в наше с Блохастым жилище, а я был болен своим поганым бронхитом, в доме не было никакой жратвы (моя бывшая благоверная прислала на работу исполнительный лист и в зарплату мне выдали три рубля семьдесят копеек ровно). А Она пришла и вскипятила молока, принесенного в синем пакете, а потом заткнула все щели в окнах кусками ваты и накормила кота. А потом, когда я лежал, обклеенный горчичиками и пил молоко с медом, она прикрепила на стену цветное фото огромного красавца-тигра и, смеясь, говорила, что это ее портрет, так как Она родилась в Год Тигра, потом играла на гитаре и пела: «Когда я был щенком и верил в грезы детства»... Или нет, на гитаре Она научилась уже потом, после того, как осталась у меня жить, несмотря на скандал с родичами и натянутые улыбки ее подружек, фыркавших в кулачок: «Он же старше тебя на двадцать лет!» И все у нас было замечательно, но в один прекрасный день она сказала мне, что пришел вызовот туда... ну... из Израиля, а Она всю жизнь мечтала об этом и наконец-то сможет уехать. Оказывается, у нее отец – еврей, уехал в Штаты лет десять тому, Она была тогда совсем маленькой, ничего о нем не знала (мать скрыла от Нее свой развод). А года три назад, в самом начале Перестройки, когда Она закончила школу, от него стали приходить письма и посылки. Мать сначала прятала все, а потом все же рассказала правду. Ирина стала носить «штатовские» тряпки, вызывая зависть подруг, потом познакомилась с какими-то «отказниками»-евреями, стала посещать

синагогу на какой-то «Горке»<sup>7</sup>, потому и не попала в Строгановку<sup>8</sup>, мать от нее отшатнулась, жизни не стало никакой, и Она решила, что там, в Штатах или в Израиле, у Нее будет все, что Она пожелает. Так Она мне сказала, и я... И мне показалось, что в мой дом влез наглый и жестокий вор, и бессовестно крадет на моих глазах единственное, что у меня еще осталось в этой жизни. Этим единственным была Она, и я не мог уступить Ее без борьбы. Господи, в Ней не было ничего еврейского – милое славянское лицо, скулы, золотисто-русые волосы, серые спокойные глаза... Что толкнуло Ее на отъезд? Я понимал, что Ее не проймешь кислыми проповедями о «русских березках», тем более, что я и сам ненавижу этот тухлый патриотизм бездарных жлобов. Да, был у меня когда-то приятель-еврей, Жорка Михлин, который тоже взял да уехал, но его-то я понять мог. В нашем славном отечестве и русскому-то кисло бывает, и жить не могу, хоть волком вой, а еврею тем более! Как там в песне поется? «А вот трамвай на рельсы встал, а под трамвай еврей попал...» Точно, как что где случается, так обязательно у нас еврей виноват. Так что еврею сам Бог велел из России ноги делать. Но чтобы Она!

Разве я мог примириться с этим? С Ее разговорами о древней исконной родине? С Ее друзьями-отказниками? С песнями на иврите, которые Она упорно разучивала вечерами? Мы начали ссориться.

Она уходила из дому, хлопая входной дверью, и мне становилось больно от этого хлопанья. Я ненавидел Ее новых друзей, Ее треньканье на гитаре, Ее дико звучащие речи о России, «погрязшей в варварстве, как в вонючем болоте». «А я?! Со мной тебя тоже ничего не связывает?!» – кричал я Ей, и все сразу менялось, и лицо Ее оттаивало, Она все обращала в шутку, и снова мы сидели вместе за кухонным столом, пили чай с пирогом, который Она испекла в духовке, и кот мурлыкал у Нее на коленях.

А потом Она ушла... Накануне все было хорошо, мы даже ни разу не поругались. Только была Она какая-то грустная, потом... потом спросила меня, какую песню я хочу послушать. Спела: «Идет бычок, качается, о чем ему мечтается...»<sup>9</sup>, потом про трубача и эту, которую я люблю больше всего – «Забудешь первый праздник и позднюю утрату...»<sup>10</sup>. И мы пили чай, как всегда по вечерам, и Она играла с Блохастым, а после мы смотрели по «фонарю» «Вечер юмора» из Останкина. Все было очень хорошо и мирно, наутро я умчался на работу (был понедельник), Она еще спала. И день тянулся, как всегда, но вдруг Она позвонила и сказала, что все кончено и Она уезжает. Я не поверил, думал, Она просто валяет дурака, но когда я вернулся вечером домой, то первое, что заставило сердце сжаться, – это пустая вешалка в коридоре. Не раздеваясь, я бросился в комнату, открыл шкаф... Ее вещей, всего, к чему я привык за несколько лет, не было! Не было и гитары в черном чехле, и мелких безделушек на полочке в коридоре, и цветного фото тигра на стене...

Я сидел на тахте, еще не веря в случившееся, а напротив, во всю стену, чернело голое окно. И в комнате было пусто и холодно, как тогда, давным-давно, когда Она еще не пришла в мой дом. И только кот тоскливо мяукал, вопросительно глядя на меня.

Я ушел и вернулся только через два дня. Все это время япил со случайными людьми. Вот и вся история моего несостоявшегося счастья.

...Метро «Фили»! Конечная! Слезайте, граждане, приехали, конец... Скорей-скорей... Извините, бабушка, сзади толкают. Ну вот мы и дома! Тридцать метров пешком прямо и двадцать шагов направо. Кот, наверное, ждет не дождется. Смешно... Кому рассказать – не поверят.

---

<sup>7</sup> На «Горке» – в Москве среди евреев-отказников, а потом и диссидентов, существовала в 70-х-80-х прошлого века традиция встречаться у московской Хоральной синагоги, т. е. на улице Архипова, на сленге – «на Горке».

<sup>8</sup> «Строгановка» – Московское художественно-промышленное училище им. Строганова.

<sup>9</sup> Е. Клячкин. – «Идет бычок, качается» – «Моим современникам».

<sup>10</sup> Булат Окуджава – «Забудешь первый праздник» – «Романс сверчка».

Было у человека три жены. Первая до замужества была классной шлюхой и проводила ночи с курсантами и офицерами столичных академий, потом ей срочно надо было выйти замуж, и она ловко подцепила мальчика из хорошей интеллигентной семьи. Но игры до конца не выдержала, мальчик, быстро разобравшись, что к чему, послал ее к чертям. Далее, повзрослевший мальчик женился на расчетливой девице, произвел на свет сына и пять лет тянул лямку с чужой, не любившей его женщиной, делая вид, что все нормально. Потом ему надоело ломать комедию и он втрескался по уши в сексуальную бабу, развелся с женой и решил, что женится наконец по любви. Но не тут-то было, так как бабе той для семейного счастья нужен был не только его конец, но и большие денежные вливания, а потому получил он от ворот поворот и остался один, как «дурак с мытой шеей».

И вот последний аккорд – милое русоволосое создание. Нежный голосок. Гитарный перезвон: «Когда трубач над Краковом возносится с трубою...» Эх! Что-то сумка у меня слишком тяжелая... Опять, зараза... Дыхалка... Давит, дышать невозможно... Постоим немного, отдохнем. Перед глазами круги какие-то цветные. До дому бы добраться. Совсем плохой стал... Ну, вроде отпустило, можно потихоньку двигаться.

Вот оно, долгожданное парадное! Ура, добре дошли, как говорят наши братья – болгары... Так, возле лифта постоим. Надеюсь, мой кот не погиб там с голодухи.

У меня, как в доброй старой сказке братьев Гримм. Там тоже был такой великовозрастный болван, коему отец, умирая, оставил в наследство кота. Только мой кот не сделает меня маркизом и не поможет жениться на принцессе. А вот и лифт! По-е-е-хали... Вам седьмой? Нажимайте, мне выше. Вот она, моя дверь. Где ключи? На самом дне сумки, черт! Ага! Орет, за версту чует хозяина. Сейчас! Вот только ключ повернем и...

## Картина восьмая

### «И пусть доска качается...»

#### Хозяин и Кот

... М-мр-ра-у-у! Мр-ра-а-я-я! Здравствуй, Хозяин! Как я рад, что ты вернулся, живой и невредимый! И никто тебя не обидел, не побил и не нахамил! И Ты, конечно, принес мне много вкусной еды, и впереди у нас целый вечер чудесной сытости, тепла и доброты...

А-а-а! Дождлся, разбойник?! Дождлся, полосатый охламон! Ах ты, Блохастый-Тимофей! Ну, сейчас, сейчас... Дай раздеться-то, не ори! Сейчас накормлю. Да знаю, что – «мяу»! Вся наша жизнь – сплошное мяу, что поделаешь? Да-да, это тебе. Ну, разумеется, в первую очередь. Как говорится, хороший казак сначала коня накормит, а потом уж и сам поест. Потерпи немного. Ты же холодную рыбу жрать не будешь. Выпей-ка пока молочка... Пей, оно не холодное, пей...

#### Хозяин

Поздний вечер или это уже ночь? Я лежу под двумя одеялами и читаю одну хорошую книгу, написанную давным-давно одним веселым и добрым философом. Философы, они, знаете ли, тоже всякие бывают. Правда, Блохастый? То-то! И у злых философов вылезают из-под пера мерзкие, холодные и скользкие, как змеи, слова и мысли, а книги их в конечном счете пахнут мясом сгоревших заживо людей. А у добрых философов как-то выходит, что мир наш, хоть и неустроенный, и бог вещь когда устроится, но все же барахтаться в этом мире стоит хотя бы потому, что есть в нем такие вещи, как красивые женские лица, снежные горы, звездная россыпь в ночном небе, шелест морской волны и запах степных трав. И многое другое, может быть и не столь возвышенное, например, хороший ужин после рабочего дня и теплая постель. Что мурлычешь, Блохастый? Хорошо тебе? Что ж, я рад, что хоть кому-то могу доставить маленькое удовольствие. Только, что с тобой будет дальше, кот? Когда меня не станет? А ведь это вполне может случиться. Что-то здоровье у меня барахлит в последнее время. Кто будет кормить тебя «тюрей» в суровые будни и угощать куском мяса по праздникам? Кто будет читать умные книги, в которых ты все равно ни черта не смыслишь? Кому ты будешь нужен, несчастная серая скотинка, в этой огромной, нелепой и жестокой стране, где и человеку-то места нет, не то что какому-то коту! Эх, Блохастый, была у тебя надежда в этой жизни, да и та ушла... Говорил я Ей, куда ты едешь, на что надеешься там? Кому ты там будешь нужна? Так нет же! Вбила себе в голову, что там Она будет свободна и счастлива. А я так и не смог Ее остановить. Тяжело мне, Блохастый... Что смотришь на меня? Ты не человек, тебе трудно понять, как мы привязываемся к этим непостоянным и глупым созданиям. Тебе с твоей Муркой было проще. Я вовсе не плачу... Ты думаешь, если я орал на Нее, обзывался, значит, меньше любил? Я дурак, конечно... Но, разве можно объяснить словами эту привязанность к родной земле? Я просто чувствую это и все! Это – как здоровье, либо оно есть, либо нет. Но ты же знаешь, как я был к Ней привязан. Она была последней моей надеждой в этой жизни и... все кончилось.

Что ж, бог Ей судья. Пусть Она будет там счастлива. Помнишь, как Она звала меня с собой? Смех! Мне, исконному русаку, Сане Ульянову – и туда? Я рассмеялся, а Она – в слезы... Сложная у нас, у двуногих, жизнь. Мурлычешь? Мурлычь, мурлычь... Не будем пор-

тить наш хороший вечер мыслями о плохом. Давай-ка лучше заведем музыку... Сейчас достану нашу с тобой любимую... Помнишь, как Она пела? Вот... Сейчас, только кассету поставлю... Ну, слушай...

«Мы связаны, Агнешка,  
С тобой одной судьбою  
В прощении, в прощанье,  
И в смехе, и в слезах.  
Когда трубач над Краковом  
Возносится с трубою,  
Хватаюсь я за саблю  
С надеждою в глазах...»<sup>11</sup>

Слушай, слушай, кот. Это же про нас, никуда не успевших, великовозрастных дураков, про все наше пропащее поколение... Мы тоже хватались за сабли, поверив в красивые слова лживых вождей, мы думали, что это будет последняя атака на отживающий мир, а потом...

«Прошу у вас прощенья за долгое молчанье,  
За позднее прощанье, за скорые слова.  
Нам подарила встреча пустые обещанья,  
От них у нас, Агнешка, кружится голова...»

Это была наша общая беда, кот, закружились тогда, в юности, наши головы от красивых обещаний, от радужных горизонтов, схватили мы заманчивый огонь голыми руками и... обжег нас тот огонь! Плечью обуха не перешибешь... Где мы теперь? Кто сгинул в далеких холодных краях, кто бьется головой о стены «психушек», кто, предав идеалы, вышел в начальники и хохочет мертвым смехом, издеваясь над нашей сгоревшей верой в чудеса.

«...Над Краковом убитым трубач трубит бессменно,  
Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист,  
Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена,  
И чья-то радиола наигрывает твист...»

А такие, как я, не спившиеся, не сгнившие в тюрьмах, не свихнувшиеся в психушках, не уехавшие за кордон и не продавшиеся за бутерброд с черной икрой, сидят тихо и ничего не могут, хотя все знают-понимают. И нам остается только вспоминать... Вспоминать наших исчезнувших без следа друзей, наших девочек, отплясывавших когда-то чечетку и твист на Красной площади после выпускного бала... Где вы теперь, наши школьные подруги?

...Холеная женщина с незаметным шрамом от пластической операции скучает перед телевизором в роскошной пятикомнатной квартире...

Пожилая работница текстильной фабрики с набитой продуктами кошелкой втискивается в вагон московского метро... Воняющий потом чернокожий бродяга валит на песок африканского пляжа истасканную голубоглазую шлюху, и расплываются в ее глазах чужие тропические звезды...

Уже поздно, Блохастый. За окнами совсем темно... Слышишь, как свистит ветер на Москва-реке? В тот вечер, когда Она впервые пришла в наш дом, тоже было так...

---

<sup>11</sup> Булат Окуджава – «Мы связаны, Агнешка...» (Агнешке Осецкой).

Там, куда Она уехала, сейчас тепло. Наверное, Ей там хорошо. Она всегда страдала от холода... Наверное, Она поступила правильно, кот! Она молодая, двадцать три, вся жизнь Ее как прямая дорога, освещенная солнцем.

Завидую я им, сегодняшним двадцатилетним, и знаешь почему? Потому, что они, в отличие от нас, не верят в красивые, лживые идеи. Чувствуют, где шоколадка, а где пустой фантик. Что смотришь так недоверчиво? Да, я не люблю их цинизм и хамство, но знаешь, я почему-то верю в них. Верю, что именно им вложит Господь, если Он существует, тот «огненный меч вселенской правды»! Вот увидишь, пройдет лет десять... Ты еще вполне можешь дожить, кот. Представляешь? Наша Земля будет чистой и доброй... Все будут сыты и здоровы... И люди, и коты, и даже собаки... И никто не будет толкаться в автобусах, а в жилищах будет зимой тепло, а летом прохладно... И дети будут приходить к родителям не за деньгами и лакомством, а просто так...

«Нас наделила странной иронией природа Есть высшая свобода, и мы идем за ней...»

## Кот

Тише! Он уснул наконец. Он очень устал за последнее время и потому, наверное, несет чушь. Музыка доиграла, и голос моей бывшей Хозяйки, Ир-р-рины, затих. У людей существует это странное устройство, в котором голос остается и живет даже тогда, когда человека уже нет.

По-моему, это очень печальное изобретение. Зачем оно нужно? Зачем терзать душу тем, что уже никогда не вернется? Хозяину очень больно, когда Он слушает Ее голос. Но все равно он хранит голос в коробочке и слушает, слушает...

Как понять человеческую душу? По-моему, это не под силу самому умному коту. В последнее время я часто задумываюсь, что будет с Хозяином, когда я исчезну из этого мира? Мой век короток, я знаю. Хозяин очень наивен и потому беззащитен. Вот, Его били, над Ним потешались, на Него кричали, Его обманывали те, кому Он верил, а все оказалось не впрок! Меня только раз за заднюю лапу схватили – и я на всю оставшуюся жизнь сразу все понял! А Он? Живет в холодном, неустроенном жилище, одет бог знает во что, ест то, что на бегу ухватит, а все надеется на что-то, чего-то ждет... Господи, как же Он без меня жить будет? Кто Его согреет холодными ночами? Кому Он душу изольет? Это нам, котам, хорошо, мы можем и обойтись. Ну, поплачем тихо, в углу, и все. А человеку этого мало. Человеку любви надо. Любви и понимания.

Я все же надеюсь, что вернется Ир-рина к Хозяину из этого своего далека. Если бы вернулась! Тогда я смог бы умереть со спокойной душой. Так, кажется, люди говорят. Господи, помоги моему дурню-Хозяину, наставь Его на ум. А то ведь сорок с лишним лет человеку, а поступает странно. И слова говорит странные. Как это Он любит говорить? «Блохастый, пойми, человек храним верой, живет надеждой и спасен любовью». Как вам это нравится?

## ХРАНИМ ВЕРОЙ, ЖИВЕТ НАДЕЖДОЙ И СПАСЕН ЛЮБОВЬЮ!

А я слушаю и удивляюсь – мало тебя, Хозяин, били в этой жизни?..

За окном темно. За окном ветер по всей земле... Ладно, будем спать. В животе сытое блаженство. Одеяло теплое. Вот так, поближе к Хозяину. Завтра выходной, и мы с Хозяином будем спать вволю, без всяких там «физкульт-ура». Тепло. Тихо. И только в ушах наплывает издали Ее голос. Звучит песенка, которую я так люблю:

«А нам грустить не хочется,  
Что появилось отчество,  
А имя лишь осталось для друзей.



И пусть доска качается  
И пусть доска качается  
И пусть бычок не падает на ней  
И пусть бычок не падает на ней...»

## Живу надеждой

### Рассказ

Проснулась я с ощущением тоски и серой безнадеги. В последнее время сны мои были тревожны... Я живу на улице Монтефиори. Рядом, в двух шагах, – море, солнечная набережная и высокие отели. Если проснуться рано-рано и прислушаться, слышно, как море шумит. То самое, о котором мечтала с самого детства. И вдруг этот сон, швырнувший меня назад. Во сне жила я снова в Москве, у мамочки. Подхожу утром к крану, хочу напиться, а из крана вместо воды – красная теплая жидкость. Я замерла, а тут входит мамочка и спокойно так набирает это в чайник.

– Мама! – кричу я. – Это же кровь, ты что?!

– Ничего, Риночка, – спокойно так говорит она, – мы уже привыкли. – И вдруг вижу, это вовсе не добрая заполосная мамочка, а директриса моей бывшей школы, сто кило злобного трясучего жира. – Ну, Риночка, – зловеще тянет она.

...И тут я с визгом бросаюсь мимо, прочь из этого места... а сзади, вдогон, рев, свист, вопль: «А-а-а! Еврейка-а-а! Держи-и-и-и!...» А потом этот кошмар кончился, и я лежу уже под огромным, закрывающим небо деревом, в прохладе, и ветви мощного дуба успокаивающе шелестят листьями. А меж листьев вместо желудей маленькие головки Рабина кивают мне, шепчут, улыбаются...

Я резко проснулась, и сразу накатило. Воспоминания. Я всегда боялась этого и запрещала себе. С самого приезда – прилета в «Бен-Гурион». Нельзя, уйдя в другое измерение, продолжать жить прежним. И стиснув зубы, я мысленно повторяла: «Я живу на Мон-те-фиори... Тель-Авив... Израиль... Зе-мля... Космос... Вселенная...» А оно лезло, напирало.

В Москве я жила в Измайлово... Под окнами шелестели колеса машин, и толстые старые липы давали тень и прохладу. В шелесте лип мне чудилось море. Далекое. Средиземное.

Мамочка ворчала, что я – ужас какая фантазерка. Меня и в школе так дразнили. Но тогда я была счастливой, особенно весной, в мае, когда яблони в школьном дворе осыпались белым цветом и мы с подружками шли вечером смотреть салюты или просто гулять в центр.

Я чувствую, как к горлу стремительно катит холодный комок. Вот он рассыпается и брызжет слезами из глаз. Я сижу на постели и реву. Всласть. С захлебам, как в детстве. Ненавижу шабаты! В шабаты я дома, не занята делом, и лезут в душу змеи... Обычно я встаю в полседьмого, злясь на весь свет и на Йоси, моего балабайта.

Мой балабайт Йоси. В очках и с доброй интеллигентной улыбкой. Да-да, улыбка бывает интеллигентной. Видели вы таких балабайтов? Ему очень нужно, чтобы я приходила в кафе на час раньше, чем мы открываемся. Он любит посидеть с извечной чашечкой кофе и потрепаться со мной. Йоси говорит, что я не только красива, но и умна. И иврит у меня на уровне.

Это мы уже слышали, еще в той жизни. И подружки, и наши экспедиционные «дятлы», и мои прошлые мужики: «Ты умная и красивая, мудрая и великая!» Мне это и Евка, соседка моя по «хате», все время талдычит.

Сегодня шабат, и она умотала к родителям в Холон. Хорошо ей. Родители, сестренка младшая... Не так одиноко. Но, с другой стороны, она их содержит, потому как здесь для них нет работы. И пенсия им еще не положена. Вот и стала Евка, кандидат химических наук, «девушкой» по вызову.

Посмотреть на нее – баба-стон! Все при ней! А мужики, что за ней приезжают на своих «Пежо» и «Вольво»? Очень элегантно смотрятся в трусах до колен и болтающихся майках.

Бог ты мой! Надутые глупые индюки! И такая баба за каких-то триста шекелей должна перед ними фигуры делать. А куда деваться? Тут и на себя-то не хватает, а еще и семью кор-

мать. Можно, конечно, подъезды мыть, общественные писсуары... В кафе пойдешь, там то же самое – все зависит от хозяина!

Мне еще повезло с «моим». Но «мой»-то знал, что со мной номер не пройдет! А может он просто чужак, этот Йоси? Как Саня, мой бывший. Нет! Я же запретила себе об этом...

А оно возвращается... Не отпускает. Правда, мне только в шабаты тяжело. А Евка, каково ей каждый день. Однажды у нее была жуткая истерика, и я ее настойками всякими отпаивала... А она, такая милая, веселая, умница, каталась по дивану, била руками-ногами и кричала: «Ненавижу! Ненавижу их всех! У-у-у! М-м-муж-ж-жики! Твар-р-р-и-и...»

Потом, когда все прошло, я узнала. У нее просто не было никогда любви. А у меня было.

В той жизни... Мне хорошо. Я одинока. Мне никого не надо содержать. И я могу мыть подъезды. А Евку мне жаль. Хотя она и хорошая баба. Потому как она чуть не стащила меня на ту же тропу. Заманчивую тропу больших, «легких» шекелей.

А было как? Очень просто. Сократили меня на моей работе. На полставки. И вот мой хозяин... Как это странно звучит, не правда ли? Мой хозяин... И вот этот тип, ни слова по-русски, торгующий мебелью, он нас финансирует. В газетном деле, как свинья в бриллиантах. Я же графиком работаю. Он решил, что меня можно три раза в неделю использовать. И платить за трехразовое использование 500 шекелей. Здорово, правда? А плачу я за комнату почти 600. И как, спрашивается, жить? А это, говорит, твои проблемы.

У нас тут так принято. Каждый сам решает.

А тут как назло еще и письмо из Союза меня догнало. Ленка, подруга моя экспедиционная. Написала, что «Саня Ульянов, твой бывший супруг и «наш грозный начальник», погиб на одной из баррикад возле «Белого дома». Подробностей никаких не знает, но так говорили очевидцы.

Я сначала не поверила. Ведь в газетах и по «телику» передали про троих. Хотя потом... называли и другие цифры. Разве в России можно узнать правду? Да и кому она нужна, правда?..

А еще Ленка сообщала, что Боренька Варшавский снова женился и работает в кооперативе «Шанс»... Тот самый Боренька, с которым я изменила моему Сане в последней своей экспедиции. За полгода до отъезда. Правда, у нас тогда все было плохо. А Боренька тоже собирался. Только не мог решить куда...

Саню я так просила: уедем, уедем отсюда... Но он только смеялся. А однажды серьезно ответил мне: «Не могу я, Ринка, туда... Я ведь там «гой». Чужак, значит. Не моя это земля, а человек на своей земле умереть должен». Почему умереть? Человек должен жить! Но больше ничего я тогда не добилась. А Боренька обещал приехать в Израиль: «Ты езжай, Риночка. А я к тебе приеду». Вот только когда?

И вот это Ленкино письмо все перевернуло в моей душе! Сразу все. И смерть его нелепая, и безденежье. И тоска. Надо было срочно все это глушить в себе. А как? Вот-тут Евка моя решила помочь, исключительно из дружеских чувств. Ну и поехала я с ней, ее «хавером» Пинхасом и их знакомыми в один китайский кабак. Но как только ступила на эту веран-дочку всю в цветных ширмочках и фонариках, сразу поняла, почувствовала – не будет здесь ни радости, ни забытья. И ком к горлу, ледяной, снеговой ком...

Не помню, как за столиком оказалась. А вокруг – веселье. Израильтяне, они народ веселый, не то, что мы, евреи с нашей мировой скорбью. Евка мне шепчет на ухо: «Рин! Развеселись быстро. Здесь не принято так в кабаках сидеть. Вот этот, справа, твой потенциальный «хавер»... Ты ему жутко нравишься. Соглашайся, здесь ломаться не принято. Если пришла, значит... А зовут его Цахи...»

Тут же этот Цахи-муцахи ко мне подсел, вернее, привалился, то да се, «кама зман ата баарец», да где работаю, «тов или не тов бэ Исраэль...» Что-то я отвечала, а потом смотрю, а на столе жратва невиданная, и водка «Смирновская» родная, и «шампань» во льду. Ну, думаю, вот сейчас напьюсь в лучших традициях Анапской экспедиции. А там будь что будет.

И может, в этот раз все и получилось бы, как Евка хотела (ей, помимо всего, моя «праведность» глаза колола!), да облом вышел. Сначала, как бухнула я водку в «шампань» и выхлестала до дна этот коктейль, у израильтян глаза на лоб, а меня ни в какую! Не берет и все тут. Только злость во мне набухать стала. А тут еще и Пинхас по Евкиной просьбе «шир русит» заказал. И поплыл как во сне над головами: «Танцевала в подворотне о-осень ва-а-а-альс-босто-о-о-он...»

И поплыли во мне воспоминания... как танцевали мы с Саней в первый раз вот под этот самый «вальс-бостон» давно-давно, в Новый год, на Ленкиной даче под Москвой. И какие у него были тогда странные, лилового цвета глаза, и как он улыбался, и... А тут Цахи этот, приспичило видно ему, схватил меня в охапку и на колени к себе. Я обалдела, рванулась, а он завопил вдруг на отвратительном русском: «Дье-вушка! Кошья! Ти хочешь деньги?»

Я замерла, смотрю вокруг, Евка моя ржет, угодливо так, Пинхас ее ухмыляется, остальные развалились на стульях и смотрят на нас с Евкой, как на вещи. И тут до меня через весь угар дошло! Ведь для них я – вещь. Как на прилавках «таханы мерказит». Там также навалены груды лифчиков, колгот, косметики, всякой жратвы, и все ходят, щупают, смотрят, выбирают. И меня, и Евку, и других наших девочек, вот так же и сейчас, вот в этих кабачках, верандочках, «малончиках», обнюхивают, осматривают, примеряют...

Я – вещь! Только живая. Из мяса. И в подтверждение я почувствовала, как его лапа лезет ко мне... И развернулась! Тыльной стороной ладони! Наотмашь! По его сальной морде!

Тресь! И еще раз – тресь! Аж по залу гул пошел... И тишина, как в морге. Ну, после всего повскакали, сразу, со всех выходов – официанты, кто-то заквакал: «Миштара! Миштара!», Евка зарыдала, завопила что-то, кто-то меня за руку...

А я уже осатанела, в руках бутылка из-под «шампани», и ору им всем: «Кто первый сунется, убью!» По-русски орала, а ведь сразу поняли. И сразу все утихло. Цахи-муцахи куда-то исчез. Пинхас с официантами побазарили немного, посмеялись. Народ в зале успокоился. Музыка вновь заиграла. Пинхас в этом кабаке был свой человек и все быстро утряс. А после мне такси вызвал. И водителю объяснил, куда меня везти. И даже денег тому дал! Вот как.

И всю дорогу, пока ехала, ревмя ревела и вспоминала... Как вот сейчас вижу и вспоминаю. То, что запрещала себе с самого «Бен-Гуриона». Как прибегала после лекций в его холодный нетопленный дом. Как он кормил меня жареной картошкой и мы пили чай с вареньем. И какой у него был сказочный красавец-кот Тимофей с грустными человеческими глазами. И наши вечера при свечах. Я играла ему и Тимофею на гитаре и пела: «Идет бычок, качается, о чем ему мечтается, наверно позабыли мы слова-а...» И еще эту: «Ты – мое дыхание, утро мое раннее»... И, конечно, его любимую: «Мы связаны, Агнешка, с тобой одной судьбою...»

Я забываю его облик. Ведь даже фотографии его не взяла. Поссорилась. Сейчас, отсюда, мне все видится уже по-другому. Иногда я закрываю глаза и... Одна и та же картина – бегу я по лестницам старого дома вверх (лифт не работает), звоню в дверь – два коротких, один длинный – и вот он на пороге. Длинный свитер, драные треники, а рядом кот Тимофей, трется, мурлычет. Он говорил мне: «Ринка, человек храним верой, живет надеждой и спасен любовью...» Вот я живу надеждой. Может, вовсе не убили его? Может, и ошиблась Ленка?

Все! Надо вставать и жить дальше. Сначала уберусь я в квартире. Потом постираю, накопилось за неделю. На пляж надо сходить. Живу рядом с морем, а времени нет. Надо отдохнуть, расслабиться. Завтра снова подъем, утренний треп с Йоси, потом никайон с восьми до восемнадцати... Я ведь живу на Монтефиори... Тель-Авив... Израиль... Земля... Космос... Вселенная...

## Мой золотой Иерусалим (девятое мгновение)

*Дмитрию Леонардовичу Германовскому*

Разве человек живет во времени? Разве он движется, подобно планете в пространстве? Может быть, древние философы ошиблись? Может быть, в их нормальное время это и было так? Но времена меняются...

Лично моя жизнь – вереница витков, быстро сменяющихся мгновений, скачущих волнами беспокойного моря... Сколько же их было, моих ярких мгновений?

...Теперешний мой виток – тюрьма с красивым древним названием Абу-Кабир... Как восточная сказка... Кабир... Решетка моей камеры достаточно плотна, но сквозь нее небо, бирюзово-синее, далекое. Птицы черкают в этих синих клетках молниеносные узоры... Я смотрю на их исчезающие крылья и вспоминаю...

Витки моей жизни. Жизнь – череда ярких вспышек. Вокруг меня время стоит, как стены колодца... гулкая прохладная тишина. И только металлический ржавый лязг не дает окончательно задремать...

Р-р-а-з-з! Небо, но другое, давнее, высокое-светлое. И в небе облака-парусники. И ничего вокруг, кроме сухого серого плетня, стрекота кузнечиков и запаха крапивы.

«...И вот посмотрел Иван-царевич, а-а перед ним-то град невиданный, ра-а-стиляется, красот-а-а дивная-я, золоты – я купол-а, сине небо-о. Ерус-а-алим-град, такова нигде не сыщешь...» Я не вижу, но знаю – это соседка по даче, вредная такая бабка с козой, все мои беды из-за ее поганой козы, но когда она рассказывает внучке сказку про «неведомый Ерусалим» с золотыми куполами, я каждый раз подползаю к серому плетню с ядовитой крапивой, смотрю в небо и представляю этот град-Ерусалим... Голубое с золотом...

Два-а-а! Бабушкин голос, высокий, странно молодой голос: «Что вырастет из него, Рудольф Аронович, что? Мальчик совсем не занимается сольфеджио... Я ему твержу: занимайся, занимайся часами. Давида Ойстраха в чуланчике запирали... И стал знаменитым... А ты? Рудольф Аронович, что делать, в какой чулан запереть единственного внука, если в голове у него футбольный мяч?! И монотонный, как осенний дождик, голос моего учителя музыки: «Не мучьте ребенка... Не мучьте ребенка, педагогов и учеников.

Паганини из него не получится...»

«Господи, – вскрикивает бабушка, – еврейский мальчик почему-то должен быть Паганини!» – «Или Ойстрахом, – свистит большими бронхами Рудольф Аронович, – как минимум...»

Да, тогда я хотел быть не Ойстрахом, я хотел быть как Эдуард Стрельцов, кумир нашего двора, известный бомбардир сборной. Или как Миша Луканин, дворник, жонглировавший в палисаднике двухпудовками по вечерам. Или как Ренат Сабиров, ловкий белобрысый виртуоз мяча и хулиганских драк, он крутился с мячом в пыли двора, весело скалясь прекрасными зубами на мое беспомощное дерганье, и вдруг, остановившись в двух шагах, резко и точно бил мне мячом в лицо: «Лови, жиденок!» – и хохотал на весь двор... Да, я не хотел быть Ойстрахом...

И вот я вижу себя идущим расслабленной походкой в паутине переулков с очередной тренировки по боксу. Нырок-удар, нырок-удар... Тах-тра-тах! По груше... По мешку... По телу противника. Упругие злые удары... Лязг зубов... И резкий, скороговоркой, голос тренера Сан Юрыча: «Так-так... Уходи... Крое... Снизу... Голову закрой, мудака! Пошел прямыми! На отходе – боковой! Так... «Двойку» в голову... Нырни! Бей!»

Да-а, я плыву по разморенным июльской жарой переулкам моей Немецкой Слободы, ощущая в руках, ногах, во всем теле радость от хорошо проведенной тренировки, и древние огромные липы шелестят кучерявыми головами, закрывая меня от жары...

...По переулкам бродит ле-е-то,  
солнце светит прямо с крыш.  
В потоке солнечного све-е-та  
У киоска ты стоишь!..

Далеко-далеко позади остался молодой голос бабушки, свист бронхов Рудольфа Ароновича, издевательский хохот Ромки... И мои внезапно постаревшие предки робко спрашивают: «Ты снова уходишь куда-то?» А я уходил, хлопая дверями, на тренировки, зная, что после тренировок будет восхитительное ощущение свободы, будут переулки, в которых меня когда-то били, и у газетного киоска будет она, моя королева красоты...

Три-и! Ее хитрый черный кот профилем на фоне раскрытого окна. Над его ушастью головой в ночном небе – луна. Кот подмигивает мне зеленым глазом, луна за окном плывет, сочувственно улыбаясь.

...Над ночными крышами  
Светят звезды рыжие...

«А завтра мы едем в Новый Иерусалим. Слышишь?» Я вижу огромные черные пушистые провалы на ее лице и всю ее в лунном свете. Мне совсем не хочется спать, хотя был трудный день, и тренировка, и жара. Разве бывают трудные дни, когда всего восемнадцать?

Ее тело не дает мне задремать... Мы встретились с ней сегодня вечером, после того, как она отвозила документы в МЭИ...

«Мне сказали явиться через три дня в военкомат. С вещами...»

Она изменилась в лице и, надрывно смеясь, затащила к себе домой, и с таким же диким смехом выкрикивала: «Идиот! Пашка, ты просто Шура Балаганов! Не мог крейзи прикинуться? А «предки» твои что? Не могли тебе справочку сделать?..» Она сдирала с себя и меня фрагменты одежды, втиснулась со мной в душ, обрушив поворотом руки водопад прохлады, и тут я заметил, что она плачет, и прижал ее мокрую голову, а она вцепилась в меня намертво, голая и бесстыжая королева, как будто я уходил навсегда...

– Завтра мы с тобой едем в Новый Иерусалим, у меня там дача. У нас це-е-лых два дня-я...

– В Новый не хочу – хочу просто в Иерусалим... в старый...

– Не оstri и не умничай. У тебя не получается...

– Я серьезно. В детстве слышал сказку про золотой Иерусалим. Хочу видеть...

– Может быть, через много-много лет... Тогда мы будем с тобой старенькия, трясу-чия-я...

– А тебя не пустят. Ты – русская.

– Здрасьте! У меня бабушка – еврейка, мамина мама. Ага!

– Вот откуда твоя любовь к евреям... Я и не думал...

– А тебе вообще ду-у-мать вре-е-едно... Ид-и-и ко мне, милый...

А потом были золотые купола монастыря и сумасшедшие два дня на ее даче. А через два дня она бежала за машиной, увозившей меня по Садовому Кольцу от нее в армию, и волосы ее задевали прохожих, длинные каштановые змеи...

Я сижу на нарах и вспоминаю мгновения. За решеткой – небо... Небо везде одинаковое...

Нет, оно разное. Оно по-разному прекрасно. Оно по-разному равнодушно-жестоко...  
А витки-мгновения наплывают...

Четыре!.. «Папа, – говорит мой сын, – почему ты не читаешь? Почему ты замолчал?»

Вокруг нас тишина – и зеленые стены спальни и зеленая спинка дивана, к которой прижался сын, слушая страшную сказку про лесного оборотня... «Знаешь, – говорю я, – давай я тебе другую расскажу – про золотой град Иерусалим».

И начинаю, совсем как та злобная бабка в детстве, а потом распаляюсь и фантазирую про град Иерусалим и про то, какие там живут люди, смелые и мудрые, хитровато-веселые и добрые, и...

– Папа, – серьезно говорит мой сын, – а ты сам это придумал, эту сказку...

– Почему?

– А таких городов не бывает...

– А если?

– Мама говорит, что ты все время фантазируешь, что нам от твоих фантазий будет плохо...

– От фантазий не бывает плохо. Спи.

– А мы с тобой поедem в твой город?

– Полетим...

– Тогда хорошо... Я люблю самолеты, – говорит сын и вздыхая засыпает...

Время, время... Какое ты быстрое, когда мы счастливы, какое ты клейкое и стоячее, когда вокруг беда и страх...

Пять!.. Пламя костра, летящие алые языки в темное ночное небо... И тяжелые усталые пальцы перебирают струны, рвутся, спотыкаются в ритме...

Кожаные куртки,  
Брошенные в угол!..

– Давай другое!..

В ре-е-чке Каменке  
Бьются камни...

– Долой Якушеву!

В далеких безводных песках Джемете,  
От чуждого взгляда скрываясь веками...

– Куда же вы торопитесь, «Поручик»?

– У «Поручика» вчера был день рождения.

– Кто мою сигарету с... взял?!

– Якушеву!.. Нет, Визбора!..

– Плесни сюда... Да не сюда, дурак...

– Куда ты меня сажаешь? Я же без купальника!

А Барон сегодня фаллический символ нашел. Не слабец!

– Кто это водку в таз налил?

На концах удлиненных рей!..

– Нашему «шефу» кошмарный сон приснился. Будто падает он на зачищенный скелет, и скелет, и вся керамика вокруг – в порошок!

Ночь притаилась за окном,  
Туман рассорился с дождем.  
И беспробудный вечер,  
И беспросветный ве-е-чер...

Костер до неба. Ветер свистит с Азова. Запах близких водорослей, брошенных на берег недавним штормом. Люди на берегу отдыхают. От дневной жары. От трудной работы...

Отдыхают в песнях. В темном кошмарном вине. И женщина, уже другая, шепчет:

«И-иде-е-м за ка-а-мни». И в камнях, скользких мокрых баранах, шипит вода. «Вот здесь», – говорит женщина. Кеды, шорты, майка летят в сторону, в песок, все сливается – черное пространство неба, белый песок, мокрые камни, пахнущие йодом, серебристая звездная дорога... Женщина сходит с ума подо мной, ее зубы мучительно скалятся в лунном свете, ее стоны пугают чаек, ее живот и бедра вминаются в меня... И мы, кентавр с двумя торсами, вращаемся в пространстве между небом, морем и землей. Ее короткие светлые волосы перемешаны с морским песком, ее дыхание успокаивается в такт грохоту прибоя, ее руки и ноги разбросаны, как будто она хочет охватить все огромное звездное пространство над нами. Темные волны накатываются на берег. Дальний отблеск костра. Ш-ш-ш-ш! И далеко-далеко гитара. Как будто ветер по струнам.

– Ты слышишь? Я люблю тебя, – шепчет женщина. Она заглядывает снизу в глаза. – Давай уедем с тобой... далеко-далеко...

– Где это? далеко-далеко?

– Т-а-а-м на берегу другого моря... Нет, я серьезно... У меня брат в Калифорнии...

– Я не хочу в Калифорнию.

– Не хочешь?

...Хо-чеш-шь... Хо-чеш-шь... шипит прибой в камнях. Ночь в молочных брызгах звезд.

Алые угли догорающего костра. Люди в штормовках, устало бредущие к палаткам. Тихий звон гитарной струны... Осколки античных сосудов хрустят под ногами...

...Их дамы не носят колечек в ноздре,  
Мужчины не делают татуировки.  
И хлещут они на вечерней заре  
Напитки без градуировки...

– Джимми, ты идешь? Джи-и-и-и-м-м-и-и!

Когда это было? Вчера? Десять лет назад? А может быть, это еще повторится, только в другой жизни? Нет, не будет другой жизни.

Другая жизнь у меня сейчас, здесь, в этой тюрьме. Мои соседи по камере – уголовники-марокканцы – ко мне относятся почему-то хорошо, снисходительно, жалеют... Оле-хадш ми Русия... Что поделаешь, несчастный парень. Ничего не понимает в жизни.

Сел за чужую хаверу. Сумасшедший. Больной. Они угощают лепешками и сыром. Бери, мотек, это вкусно... Их громкая камерная жизнь, их смех и ругань текут мимо меня. Ибо мое время вращается по замкнутому кругу... Шесть! Серая декабрьская пелена над городом, серая оттепель. Серая толпа перед московским Киноцентром, беснующиеся, оскаленные тысячелетней ненавистью пасти. Полосатые платки палестинских студентов и лакированные картузики на льняных кудрях россиян. Впереди мечется человек с мегафоном, что-то визжит и выплевывает в мегафон. Милиция с трудом сдерживает напор славяно-палестинской толпы. Толпа не желает, чтобы был съезд евреев. Позор для первопрестольной! Позор для русского человека! Мало «своих», так со всего мира понаехали, гады. Долой их! Вон их! Так его, так, по башке пла-



катом! В кррровь жид! «Менты, сионистами купленные! Не пускать их!» – Милиция сочувственно сдерживает негодующих россиян и их палестинских братьев: нельзя, мол, бить, у нас демократия. А толпа налезает, разинув рты, выкатив налитые злобой глаза...

Ж-ж-и-д-д-ы!

За моей спиной, взявшись за руки, молодые крепкие ребята из киевского «Бейтара» запевают на иврите. Я не знаю слов, но мотив сразу захватывает серое пространство, заглушая пороссячий визг напиральной толпы.

...Иерушала-и-и-м шель зах-а-а-в!..

Сзади подходят двое из охраны съезда, у одного – красно-черная повязка «анарха», у другого – «жовто-блакитная», руховская. «Вы бы, Павел, отошли назад, в случае чего, все ж возраст у вас», – говорит руховец». У меня возраст?

Хотя для этого мальчика, конечно... Неужели мой возраст уже не для драк? И меня оттесняют ребята из охраны... Так и осталось это мгновение – нарочитая беспомощность «ментов», звериный оскал толпы и стоящая плотно стенка молодых парней.

Сине-белое, красно-черное, желто-голубое... Это не было возможно никогда раньше.

Это не повторится никогда потом. Но это было!

Семь! На проводах был только один мой русский друг... Нет, мы никогда не были друзьями, но в моей последней экспедиции он почему-то часто оказывался рядом. Как будто чувствовал, что я прощаюсь с прежней жизнью. О таких, как он, вспоминают, когда их нет рядом. Его прозвали Джимми. Наверное, из-за шкиперской бороды... Он бежал за уходящим вагоном и кричал: «Вызов! Вызов мне пришли! Я не хочу здесь оставаться... Иерусалим...

Хоть краем глаза...»

Так и осталось в памяти – темный, уходящий назад перрон и бегущий Джимми...

Я уехал один. Мой выросший сын не уехал со мной. Мои женщины забыли меня.

Я вошел в другой мир одиночкой, и одиночкой крутился в этом новом мире, чтобы выжить. У меня не стало любимой работы. У меня не стало своего угла. Я должен был забыть мой прежний язык, который никто здесь не понимал. Я должен был забыть все мои прежние жизни, ибо здесь это никого не интересовало. Я брался за любую работу и никогда не спорил с моим хозяином. Моим хозяином... Моим хозяином... Я забыл, какого цвета бывает небо, я забыл, как пахнут морские водоросли. Я понял, как солнце бывает жестоким, а вежливая улыбка источает издевку...

Но я не роптал на судьбу. Ведь моя давняя мечта, мой золотой Иерусалим был где-то рядом. Только вот вырваться в него я никак не мог. Работа... работа... работа... Но я знал, что буду в нем, немного разгребусь с делами, со временем...

Восемь! На этот шук я забрел случайно. Говорили: ты что, шук Кармель – это же знаменитое место, это надо видеть, слышать, и купить можно дешево. Мне и надо было немного фруктов, в конце дня даже бесплатно, торгаша выбрасывают с прилавков...

И тут я внезапно увидел пару. Оба были такие белые, сразу заметно, что здесь недавно...

...Но все дело было в нем, в этом здоровенном смуглом торгаше и его товарищах... Все они весело ржали. А ржать было над чем. Очевидно, женщина решила купить белье и спросила о чем-то торгаша, а тот, пользуясь незнанием и беззащитностью этой молодой красивой «руссии», внаглую, открыто лапал ее на глазах растерянно улыбавшегося мужа, делая вид, что примеряет какие-то тряпки. Вокруг хохотали, оскалив белозубые здоровые рты...

И я пошел прямо на него, на этого кабана, не понимая еще, что со мной творится, и голос моего далекого тренера, Сан Юрьича, проорал в ухо: «Нырни! И боковуху раз-з!»

И я-таки нырнул...

Я помню, как вокруг сразу стало тихо, и в этой тишине громадная туша, плавно сшибая с прилавков тряпки, овощи, сласти и прочая, приземлилась в грязь... И это было легкое и замечательное мгновение...

Я сижу и смотрю на небо. Где-то рядом мой золотой Иерусалим. Всего час езды автобусом. Хорошо птицам, у них это без проблем. Но ведь если очень захотеть... Я слышал или читал давно, что возможно. Только надо очень захотеть... Как это называется?

Левитация? Или что-то такое... Господи, помоги мне!.. Только бы посмотреть один раз...

Золотой Иерусалим... Но что это? Ноги мои... Плывут по воздуху?! Я шагаю, черт возьми!

Вот оно, пространство... Мои марокканцы смотрят снизу, и глаза их под покатыми лбами восторженно стынут... А решетки? Ведь их как бы и нет? Нет! И синий воздух вокруг...

Ха-ха! Вот он, дурак, пялится вниз и фуражка свалилась... Не лапай кобуру, бесполезно! Привет миштаре всего мира! Я же натурально лечу! Это уже у Шагала было... А? Значит, не соврал старик... Ух, высота! И не страшно...

Я вижу его, мой золотой Вечный Город! Потому что в этом мире нет ничего невозможного, надо только очень захотеть! Вот оно, мое счастливое мгновение...

## Стрельба из пистолета по движущейся цели

...Сегодня, придя со смены, долго не мог успокоиться. Да и было с чего. Чтобы придти в норму, вылакал граненый стакан водки, чего раньше себе не позволял. И никак не мог расслабиться. Все внутри дрожало. Нет, это не был страх, это было что-то другое. Похоже на состояние перед выходом на ринг.

Произошло со мной то, что и должно рано или поздно произойти с любым охранником в Израиле. А именно – безвыходная ситуация, когда по всем законам охраны объекта, неважно, под охраной у тебя отдельный человек или целое кафе со всеми посетителями, ты должен стрелять в террориста и формальное право на стрельбу у тебя есть, но... Вот эти проклятые «но»!

На всех моих зачетах по стрельбе в бат ямском тире (а было этих зачетов за десять лет у меня немало) наш мадрих<sup>12</sup> Симон любил говорить:

– Этот экзамен, что вы каждый год сдаете, – это все ерунда. Вы стреляете по неподвижной мишени! – И он сурово осматривал стоящих перед ним в шеренгу охранников, большей частью пожилых «русских», старавшихся вникнуть в его гортанно-клокочущий иврит. – По неподвижной мишени! И дистанция у вас – двадцать шагов! А вы не можете толком попасть в центр мишени! Что это такое? А в боевой ситуации? Хас ве халила!<sup>13</sup> В боевой ситуации ваша цель – террорист, не будет стоять на месте. Он будет – что? Правильно. Он будет двигаться! И он будет двигаться на вас! У террориста, у шахида, какая цель? Проникнуть на объект и взорваться! А какая цель у охранника? Остановить его. Любой ценой. Так что в жизни стрелять вы будете по движущейся цели! А в тире вы не попадаете в неподвижную мишень! Так, хэвре!<sup>14</sup> Разбейте патроны и будете стрелять, пока не посинеете! А то не получите зачета».

Но самое интересное начиналось уже после того, как мы, пожилые охранники, одуревшие и оглохшие от четырехчасовой пальбы в маленьком, душном помещении, и сдавшие этот ежегодный треклятый экзамен, ожидали получения заветной «корочки», подтверждавшей наше право на ношение оружия. Мадрих обычно собирал нас в тесной комнатке-предбаннике и начинал, как он говорил, правовую подготовку.

– Ну, а теперь я дам вам пару практических советов, – говорил он обычно, – Вы знаете, что нельзя применять оружие в закрытом помещении, ибо возможен рикошет пули от каменной стенки. Нельзя открывать стрельбу в месте скопления людей, можно попасть в постороннего человека. Нельзя также стрелять в подозрительного человека, если вы не уверены в том, что этот человек – террорист и собирается взорваться. Вы спросите меня (и часто спрашивают), что делать в этих случаях? По закону вы можете попытаться остановить его окриком, скомандовать – «стой» и «не двигаться». Если не подчинился, тогда стреляй в воздух.

– Ну, а если он и тогда не остановится? – ехидно спрашивал кто-либо из экзаменуемых. – Что тогда делать?

Этот вопрос задавали всегда, на каждом экзамене, ибо это самый больной вопрос израильских охранников. Вопрос, торчавший больным зубом у каждого, кто когда – либо стоял с оружием у входа в школу, банк, супермаркет, кафе, кинотеатр или Центральную автобусную станцию. Что делать, если подозреваемый тобой человек ведет себя нестандартно в стандартной ситуации? У всех на памяти был печально знаменитый случай с «русским» охранником религиозной школы, открывшим огонь на поражение по не реагировавшему на окрик наглецу и загремевшим в тюрьму на десять лет за «непредумышленное убийство».

---

<sup>12</sup> Мадрих – (ивр.) – тренер, наставник, начальник.

<sup>13</sup> хас ве халила! – восклицание, означающее «Не дай Бог!»

<sup>14</sup> хэвре – компания, здесь – друзья.

Наш мадрих, в прошлом «расар»<sup>15</sup> спецназа «Гивати», отвечал всегда четко, нисколько не колеблясь:

– Хэвре! Вы отвечаете не только за себя, но и за жизнь охраняемых вами людей. Поэтому действовать надо по обстановке. Что это значит? Это значит, что лучше сидеть живому в тюрьме, чем лежать мертвому на кладбище.

При этом он многозначительно подмигивал нам и добавлял:

– Я вам ничего не говорил. Ясно? Но помните, в боевой ситуации ваша цель будет двигаться! Двигаться на вас. И стрелять вы можете только до расстояния в двадцать шагов! Двадцать шагов до цели! Если будет ближе, то это уже бесполезно. Потому что после двадцати шагов все осколки, все гвозди и шурупы полетят в вас!

И вот с этими, вбитыми в мой мозг «практическими советами» я и стоял на входе в наше здание со странным названием «Африка – Израэль» сегодня в утреннюю смену и радовался, что мне повезло не работать в ночь, и погода такая не по зимнему теплая, и небо голубое... Все было хорошо. Даже слишком хорошо в это утро.

Я наслаждался утренней тишиной, прозрачно-голубым небом, чистым воздухом утреннего Тель-Авива, до моего слуха доносился шорох колес редких машин и воркотня диких голубей на вымытой легким ночным дождем площади перед нашей «высоткой». Но вот уже первые работники многочисленных офисов потянулись к дверям главного входа, и очень скоро хлынет сюда толпа сотрудников и клиентов, и начнется обычный суматошный день.

Я машинально взглянул на часы. Без десяти восемь... И тут что-то заставило меня внутренне напрячься. Я даже не сразу сообразил, что. Какое-то неуловимое изменение в окружающем пространстве. Некое нервное движение. Первое, что я заметил, точнее, услышал – шедшие к охраняемой мной двери люди почему-то резко затормозили. Изменился ритм шагов. А дальше все развивалось, как в замедленном кино...

Одновременно я увидел... Как шедшие к входу в здание «датишный»<sup>16</sup> в черной шляпе, лапсердаке и смешных чулочках на тонких ногах и роскошных форм секретарша одного из наших адвокатов, в очень смелой мини-юбке, резко затормозили, как бы зависли в утреннем туманном воздухе. А перед моими глазами обозначился девичий силуэт, закутанный в длинное черное одеяние, в темном платке, наполовину закрывавшем лицо... Арабка! И, конечно же, мусульманка! Таких я видел в Нацерете, в последнее время такие все чаще встречаются в Яффо... христианки так не одеваются... Двигается по направлению ко мне. Ее губы что-то шепчут... Что это? Молитва? Она молится. Что ей нужно здесь, в центре Тель-Авива в такое время? Она приближается... Черт! Если молится, значит... Террористка? Рука скользит к правому боку, там, где пистолет... Рукоять сама ложится в ладонь... Сколько осталось до надвигающейся фигуры? Двадцать пять? Двадцать? Как быстро она идет! Надо стрелять! А если показалось? Если она просто идет куда-то... Все! Уже поздно! Пятнадцать... Десять! И вот она стоит передо мной! Темные большие глаза смотрят в упор. Губы шевелятся... Она что-то говорит мне, а я не понимаю. Говори громче! Взгляд ее темных красивых глаз. В них испуг. Немая просьба. И... еще что-то. В их глубине. Страх? Ненависть? Что она говорит? Я не понимаю арабский! Она повторяет. – «Еш кан хевра бишвиль нашим мукот?»<sup>17</sup> Тьфу! Это же иврит! «Нашим мукот». Это какая – то контора по делам избиваемых жен! И застывший было окружающий мир, обрушивается на меня водопадом звуков. Звуков просыпающегося города – шумом машин и автобусов, стуком дверей магазинов, грохотом мусоровозки, криками грузчиков, разгружающих хлеб в соседнем магазине... Она что-то говорит и смотрит на меня огромными тревожными глазами. Нет, милая, такой конторы в нашем здании нет. А где есть? Не знаю.

---

<sup>15</sup> Расар – сокр. Рав-самаль-ришон, воинское звание – старшина.

<sup>16</sup> «датишный» – религиозный ортодокс.

<sup>17</sup> «нашим мукот» – в Израиле фирма, оберегающая права избиваемых мужьями жен.

Но мне сказали, что это где-то здесь. Возможно, но не здесь. Адрес есть? Да, улица Генриетта Сольд, двадцатый номер. Это направо и до пересечения с параллельной улицей. А есть здесь кафе? Да, есть, за углом. Спасибо... Иди направо... Уф!

Она уходит от меня какой-то неуверенной походкой, плавно покачивая бедрами. На ходу оглянулась через плечо. Вот свернула за угол. Люди на тротуаре начинают двигаться по направлению к входу в здание. Окружающий мир возвращается в норму. Звуки... Краски... Запахи. Рука моя сползает с рукоятки пистолета. Автоматически проверяю сумки заходящих в здание людей, а сам чувствую, как по спине стекает пот. И всю смену работаю, как в тумане. Все мышцы тела как – будто налиты свинцом. На вопросы отвечаю автоматически. В обеденный перерыв вкуса еды не чувствую.

И только придя домой и став под душ, постепенно оттаиваю от напряжения. Опрокидываю в себя стакан водки. Но доза спиртного не расслабляет. Внутри присутствует ощущение какого-то ледяного стержня. Надо было что-то с этим делать, и я занялся чисткой и жаркой картошки, вспомнив один из советов моей покойной тети Риты: если немедленно не можешь решить назревшую моральную проблему – поработай руками. Работая руками, одновременно вливаю в себя второй стакан. На голодный желудок – нехорошо. Но помогает. Тело расслабляется. В голове появляется философская легкость мыслей.

Ну, и что же хорошего мы видим вокруг себя? И когда наступит всему этому конец? Вот сегодня мы стояли с ней, с этой молодой арабкой, напротив друг друга, и у меня возникло ощущение, что весь остальной мир замер вокруг нас, застыл. И жили в этом мире только мы, два полюса, два антипода, плюс и минус, и ждали... Чего? Что между нами вспыхнет разряд невиданной мощи, уничтожающий все вокруг? Смерти? Вечной жизни? В ее красивых глазах читался страх, надежда, мольба. И еще. Ненависть. К современному красавцу-городу, возникшему на песчаных дюнах сто лет назад. Ко всем этим евреям, виноватым в том, что ее избивает муж и жизнь окрашена только в черные краски. Ко мне, пожилому «русскому» охраннику, преградившему ей дорогу к большому красивому зданию, где работают кондиционеры, и так вкусно пахнет хорошо заваренным кофе и свежими булочками из работающего в этот ранний час кафе.

Кто разрешит этот трехтысячелетний спор между кровными братьями?

Кому из людей это под силу? Или это под силу лишь Творцу этого мира? Мира, в основе которого лежит кровная вражда между братьями. Каин и Авель. Ицхак и Ишмаэль. Иаков и Эсав. И так оно и будет длиться до конца времен. Пока последний человек не исчезнет с лица Земли.

Мои философские мысли прервал назойливый звук скворчащей на сковородке картошки, и я тут же почувствовал волчий позыв моего изголодавшегося желудка. Ну, если голоден, значит, еще поживем! Вывалил жареную картошку в глубокую тарелку, быстро порезал большой сочный помидор, опрокинул в себя третий стакан водки (имею право!) и с наслаждением погрузился в трапезу, ощущая все своим существом, что все же живу. Живу в этом неуютном и малопригодном для жизни мире. Живу вопреки страстному желанию меня уничтожить.

Я вдруг понял коренных израильтян, упрямо идущих в кафе, рестораны и торговые центры через несколько часов после терактов. Вот вы нас взрываете, а мы все равно будем веселиться, наперекор вашей ненависти!

Ничего не поделаешь, надо жить дальше. «Дум спиро – сперо». Я забросил грязную посуду в раковину (мыть не хотелось) и расслабленно рухнул на диван. Автоматически включил «телек». На экране было шумно, по «русскому» каналу показывали очередной «бандитский» сериал со стрельбой и погоней. Актеры ненатурально гримасничали и картинно размахивали «стволами». Вас бы сюда, к нам, в нашу ближневосточную кашу. Я выключил телевизор, и сразу стало тихо. Потолок медленно закружился в вальсе, зазвучала в ушах музыка и, уже погружаясь в сон, вспомнил закутанную в темное одеяние фигурку арабки, ее красивые глаза,

смотревшие с укором, припудренный синяк на лице: «А все же хорошо, что я не стал стрелять. По движущейся цели. Не дай Бог, чтобы пригодилось это страшное умение – умение убить человека».

## **Путешествия странного человека (рассказы о господине Н., о его удивительных приключениях в России, Израиле и иных местах)**

### **Глава первая Интродукция**

Большинство живущих в этом мире людей уверены, что они живут на свете лишь определенный отрезок времени, а именно: только здесь и сейчас. Более того, есть целые философские направления, которые доказывают доверчивым прожигателям и проедателям жизни, что это именно так и есть, и нет никакого прошлого и будущего, а лишь длящееся настоящее.

Человек просыпается утром, идет в туалет, чистит зубы, варит себе кофе. Потом завтракает и одновременно смотрит в окно, глядя на просыпающийся мир. Потом он едет на работу, нервничает в «пробках», на работе ругается с подчиненными или получает «втык» от начальства, звонит жене или любовнице. Возвращаясь с работы, заезжает в ближайший супермаркет за покупками, забирает детей из школы (если они у него есть), вечер проводит в кругу семьи или же в объятиях подруги, смотрит телевизор и, наконец, засыпает, чтобы завтра повторить привычный круговорот. И не замечает, как проходит жизнь. Но однажды, особенно если привычная рутина прерывается каким-то странным или трагическим образом (предательство друга, смерть родителей, измена жены с последующими скандалами и неизбежным разводом), что-то ломается в видении человека, в понимании им жизни. И вот он пугается своего открытия и начинает что-то судорожно искать, то ли в себе, то ли в окружающем мире.

Он начинает искать истину. Сначала – в умных книжках, потом – в священных текстах разных религий. Но умные книжки написаны такими же людьми, а священные тексты недоступны пониманию из-за своей метафоричности и архаичности, все это требует особых знаний и подготовки. И тогда человек, с подступающим к горлу отчаянием, пытается вспомнить что-то важное, что открывалось ему когда-то в детстве, в юности или... когда? И внезапно к нему приходит понимание, что его жизнь – это путешествие. Что он всего лишь скиталец, странствующий в разных мирах, проплывающих мимо, и ничто, к сожалению, не повторяется. Мир детства... мир отрочества... юность... молодость... зрелость.

Что же было там необычного? Ведь было же что-то, что осталось навсегда в памяти... Как путешественник, что привозит из дальних странствий какой-то сувенир, игрушку из цветного стекла, розовую морскую раковину или резную деревянную маску и ставит их на полку, так и от путешествий во времени остаются следы. Воспоминания... Сны... И странное, горькое ощущение чего-то Несбывшегося.

Ведь каждому, даже самому на вид примитивному и грубому человеческому существу свойственны, особенно в начале жизни, мечты о своем будущем. Ребенок или юноша грезит о подвигах... О доблести, о подвигах, о славе... О любви к прекрасной женщине... О невероятных приключениях...

И плывет человек по океану жизни, из страны в страну, из мира в мир. И уносит с собой обрывки событий, воспоминаний, фантазий... Но все складывается не так, как мечталось, и нет времени исправить, и прошлое растворяется, как след от винта за кормой корабля. И горькое ощущение того, что могло случиться, но... не сбылось...

И только на пороге старости, на грани сна и яви, тихими шагами вступает в свои права и сверкает радужными красками то недостижимое, непостижимое и таинственное, как гавань неоткрытой человечеством земли – Несбывшееся.

*Израиль. Бат-Ям.  
(август 2004 года)*

Некий пожилой господин (будем называть его для краткости – господин Н.) проснулся с довольно тяжелой головой в пустой квартире от того, что луч закатного солнца, пробившись сквозь жалюзи, вонзился ему в правый глаз. Еще находясь во власти сна, он недовольно заворочался, силясь уйти от неприятных золотистых иголок, пронзавших плотно зажмуренные веки, но эти бесполезные усилия привели лишь к тому, что он окончательно проснулся. Отбросив ногой простыню, полежал несколько минут спокойно, приходя в себя, медленно возвращаясь в действительность. В комнате было душно, (кондиционера в съемном жилище не было), а напольный вентилятор помогал мало, гоняя нагретый воздух безо всякого толка. Употребив некоторое усилие, пожилой господин все же отодвинулся от нахального закатного луча в более прохладную часть своего ложа и попытался вспомнить, что же ему приснилось перед пробуждением.

Ему уже давно не снились сны. Пожалуй, с самого отъезда в Израиль. А тут, вдруг... Сон же был какой-то тревожно-скверный. Господин Н. пытался вспомнить детали, н-но... перед мысленным взором вяло раскручивалась некая серая муть. Потом... в этой мути забрезжило нечто... Густозеленая ветка над головой... Ветка качается под ласковым прохладным ветерком. Ветка клена, растущего рядом с верандой... Он лежит на раскладушке, над ним деревянный потолок... лампочка свисает на скрученном шнуре... сбоку налезает густая зелень ветвей клена и, сквозь листья, – кусочек голубого летнего неба. И голоса... Знакомые, родные голоса. Нет, он не видит их лиц. Но они рядом. Вот тетя Рита поет арию из классической оперетты. Серьезная женщина, а любит почему-то веселые оперетты: «... Ча-астица черта в нас заключена подчас!...» – она всегда поет, когда работает в саду. Голос бабушки Фимы... давно забытый голос из прошлого:

– Вставай, Сенечка... совсем заспался... Вставай завтракать! Я испекла твои любимые рогалики! Поднимайся!..

И вот он уже за столом. Грубый деревянный стол накрыт в саду. Свежая белая скатерть с вышивкой по краю... А на столе красивые синие чашки для чая, желтое деревенское масло в масленке толстого синего стекла, залитое холодной водой, мягкий финский сыр на тарелке, открытая баночка со сливовым джемом, домашние пирожки с капустой и, конечно же, бабушкино кулинарное чудо: горячие румяные рогалики, посыпанные сахарной пудрой и измельченным грецким орехом. И вот он тянется ручкой к этим аппетитным рогаликам, хочет взять с тарелки... но какая-то странная, незнакомая тетя, непонятно откуда взявшаяся за этим семейным столом, выхватывает тарелку с бабушкиными рогаликами у него из-под носа и смеется, нехорошо скалится железными зубами (у нее полный рот этих сверкающих зубов) и говорит вкрадчиво:

– А ну-ка, дотянись, ма-альчик. Потрудись сначала, побегай!

И он, чувствуя себя совсем маленьким и беспомощным, зовет бабушку, маму, тетю Риту, но их почему-то уже нет за столом, а какие-то чужие люди вокруг... И все хохочут над ним, скалят зубы, кривят рожи:

– Догони, догони!

И он, слабый малыш, вскакивает в отчаянии, бросается на тетку с железными зубами... Та, хохоча, убегает от него гадкой рысцой... И вдруг, на бегу, лихо взмахивает блюдом, и рогалики разлетаются во все стороны! Далеко и вверх!



А вокруг уже не сад, а огромное пространство, заросшее кустами и деревьями, и он все бежит, бежит за железозубой обидчицей, отнявшей у него рогалики... Он бежит все быстрее и быстрее, и вот уже кончился этот громадный дикий сад, и бежит он по грязной, раскисшей от дождей дороге. По сторонам густой лес и столбы с проводами, и холодный ветер подгоняет в спину, и серый дождь больно сечет по затылку, и понимает он, что не догонит злую тетку, и не будет больше у него никаких вкусных рогаликов. А есть отныне вот эта дорога, холодный ветер и дождь...

...Господин Н. еще посидел немного на нагретой солнцем тахте, приходя в себя после тяжелого дневного сна. Помотал головой, отгоняя приснившуюся ерунду.

«Надо же, – подумал он, – столько лет ничего не снилось. А тут... рогалики! Чушь какая-то».

Он посидел на тахте еще некоторое время, повторяя про себя это странно звучащее слово: «Ро-га-лик...» Покатал на языке: «Ро...ро...ро...га...га...лик». Такое жесткое вначале, как рычание потревоженного зверя: «Р-ро-о...».

И следом, радостное, всеобъемлющее, восторженное: «Га-а-а!». Как эхо в горах. И в конце – мирное, закругляющее, и в то же время торжественное: «Лик!».

«Какая глупость, – подумал он. – Что это со мной? Как будто в первый раз слышу. Ро-га-лик... Нормальное слово. Но почему оно кажется мне таким незнакомым? Как слово чужого языка?»

Он еще раз попробовал языком это, показавшееся таким чудным слово, и... тут, что называется, накатило! Сначала сжало спазмом горло, до боли, как при ангине. Он попытался загнать эту внезапную боль в себя, вовнутрь. Но боль разодрала горло, и... заволокло глаза, окружающее пространство расплылось молочным туманом. Он охватил ладонями лицо, удивившись, как оно мокро и небрито, приступ неудержимого, постыдного плача сотряс его плотное, грубое, в складочках жира, волосатое тело.

Боль ушла, стало легко, но он никак не мог остановить этот внезапный, какой-то совершенно детский, плач.

«Господи, что же это со мной? – спрашивал себя господин Н., пытаюсь унять сотрясавшие тело приступы рыданий. – Откуда это? Почему?» – все повторял он, стискивая ладонями лицо, как бы силясь загнать непрошеные слезы обратно, внутрь крепкого коренастого тела, так верно служившего ему долгие годы. Он гордился тем, что был совершенно непробиваемым все это время, пока жил в эмиграции. Пятнадцать лет толстокожесть спасала его от постоянных обманов, мелких обид и крупных подлостей этого нового, чуждого ему мира. Да и в прежней, доэмигрантской, жизни он был достаточно закален против обрыдлой, подлой действительности...

Детство закончилось рано. Так уж случилось, что родители его ушли из жизни неожиданно быстро. Он даже не успел осознать внезапный момент своего одиночества. Вырастила его тетка, мамина родная сестра. Своих детей у тети Риты не было, муж умер вскоре после войны. Вот от нее-то будущий господин Н. и научился этой спасительной непробиваемой жесткости.

– Не ной! – поучала его тетка. – Нечего нюни распускать! Кому ты будешь нужен такой рассопленный? Запомни – слабых не любят! Над ними все потешаются, и никто им не помогает! Нос тебе разбили? Утрись и пойдешь сам разбей! Жидочком обозвали? Двинь как следует! А-а, он сильнее тебя? Возьми палку, камень в руку и бей в ответ. А мне жаловаться не смей. И этих слез, чтобы я не видела!

Тетя Рита не была, разумеется, ни черствой, ни злой, просто она работала хирургом в Басманной больнице, оперировала по восемь часов в день, и ей было не до сантиментов. Да и три года, проведенные на войне в полевом медсанбате, не способствовали смягчению ее характера. Она часто срывалась на будущего господина Н., который в детстве отзывался на имя Сенечка (тетя Рита звала его сурово, по-мужски, – Семен), порой бивала ремнем, но, благодаря ее жест-

кому воспитанию, он и приобрел дубленую шкуру, не раз выручавшую его в житейской борьбе. Потом, когда суровой тетки не стало, он часто вспоминал ее с благодарностью за науку выживания, и раз в году, 9-го мая, приезжал на Донское кладбище помянуть покойницу и дать кладбищенскому сторожу десятку, чтобы поухаживал за могилой. Мать с отцом и старики его были похоронены в другом месте, замурованы в серую стенку колумбария, и, хотя от их пребывания в его жизни в памяти осталось лишь размытое временем ощущение тепла и доброты, к ним он ездил все-таки реже: серая бетонная стена с маленькими округлыми фотографиями отталкивала своей равнодушной безнадежностью. Было что-то нелюдское в таком способе погребения. А вот на могилку к тетке Рите он ездил охотно, подолгу сидел возле поросшего молодой травой холмика с серой мраморной плитой, пил водку из металлической плоской фляжки, смотрел на врезанную в серый камень фотографию тети Риты в военной форме с капитанскими погонами и двумя белыми медалями на гимнастерке.

Перед самым отъездом в Израиль он навестил свою бывшую семью: жену Светлану и двоих, уже достаточно взрослых, детей, Стаса и Таньку. Привез им «наследство» от деда с бабушкой: роскошные старые альбомы по искусству, книги по истории государства Российского, собрания сочинений русских классиков (теперь таких не достанешь!), старый потрепанный альбом семейных фотографий и, как он тогда выразился, «историческую память» от отца, Сергея Ивановича, которого сам помнил плохо: два ордена Красного знамени и кучку обгорелых документов (на военном заводе, где тот работал, произошел взрыв, и он, в прямом смысле, сгорел на работе). От мамы, Доры Исааковны, фамильный стетоскоп, пожелтевшую фотографию в металлической рамке и маленькую шкатулку из какого-то южного дерева, в которой лежало ее обручальное кольцо, ожерелье темного балтийского янтаря и медали «За взятие Праги» и «За победу над Германией». А от тети Риты – ту самую, любимую ею, гимнастерку с капитанскими погонами и боевыми наградами. Бывшая супруга Светлана как-то по-бабьи всплакнула, отпрыски вытянулись и посерьезнели при виде «наследства», а господин Н. тогда довольно сурово произнес:

– Ну, вот. Уезжаю. Извините, если что было не так... И...п-рошу... навещайте могилы деда с бабкой... ну и бабуку Риту тоже. – И дети, разумеется, согласно покивали, а Светлана успокоила, мол, конечно, как же, не волнуйся, помянем обязательно, а ты нам пиши, как там устроишься.

И потом, когда он уже собрался уходить, вдруг сказала:

– А может, не стоит сейчас уезжать? Смотри, все же у тебя сейчас сдвинулось с мертвой точки: и работа появилась приличная, и рассказ твой в «Искателе» напечатали, и... вообще... страна меняется...

В светкиных глазах тогда стыло запоздалое раскаяние и какое-то совершенно русское, тоскливое бабье одиночество. Но господин Н., захваченный в ту пору каким-то всеобщим сумасшедшим еврейским порывом к бегству из еще совсем недавно стабильной России, пробормотал что-то маловразумительное насчет «родины предков», «национальной памяти» и, похлопав своих довольно рослых отпрысков по плечам и чмокнув бывшую «половину» по-братски в щечку, отбыл из Шереметева в Вену.

...Господин Н. сидел на остывающей от дневного жара тахте и вспоминал все это совершенно некстати, так как именно сегодня у него не было ночной смены, и он должен был встретиться со своей дамой, провести с ней хороший вечер, а если повезет, и дочка этой дамы не приедет на «соф шавуа»<sup>18</sup> из армии, то и не менее хорошую ночь. Даму же эту, с хорошим русским именем Валентина и вполне славянской внешностью, господин Н. очень ценил, ибо она, в отличие от прежних подруг, попадавших в его постель, относилась к нему по-человечески. Да-да,

<sup>18</sup> *соф-шавуа* – конец недели (ивр.).

именно так про себя он называл ее отношение. Такие слова, как «люблю», «обожаю» и проч. он давно уже отверг, как лживые и ничего не означавшие. Такие слова можно говорить, не задумываясь, чтобы получить свое. Он и сам их произносил когда-то своим друзьям, и ему их говорили в ночной темноте, после страстного шепота и любовных стонов.

Но вот когда Валя-Валечка звонила ему на «мобильник» и своим молодым, совсем девичьим голоском узнавала не принести ли ему на работу (он работал охранником в «высотке», в центре Тель-Авива) домашних котлет или сырников, или просто так, весело спрашивала «Как дела, мужичок?», внутри у господина Н. оттаивал привычный ледок, становилось уютно на душе, и он бодрым голосом отвечал что-то вроде «Ничего, Валюха, дела, как сажа бела, пока дышу надеюсь», и прочее в таком же духе.

«Да, ничего не скажешь, повезло мне с Валей, думал господин Н., – по сравнению с предыдущими моими «ляльками», что российскими, что местными, израильскими...»

Прежние его дамы, включая и жену Свету, видели в нем сначала крепкого, накачанного парня, с коим хорошо в постели, затем, если «дело выгорало», надежного мужа-добытчика или же толкового и непритязательного любовника. Он был, что называется, положительным, никогда не спорил из-за денежных трат своих дам и в постели не требовал противоестественных услуг. Но именно эта его положительность и приводила в итоге к тому, что дамы внезапно начинали капризничать, скандалить и требовать от господина Н. бог знает чего. Все это заканчивалось весьма печально: либо г-ну Н. указывали на дверь, либо он сам, не выдержав мелочных скандалов, уходил, оставляя даму в растерянном недоумении.

Но с Валентиной все вышло иначе. И знакомство их было совсем не романтическим. Его приятель, бухарский еврей Миша, с коим вместе охраняли торговый центр в Тель-Авиве, как-то предложил ему посетить некий «институт здоровья», а попросту говоря, подпольный бордель.

«Почему же «подпольный»? – удивится знакомый с местными реалиями читатель. – Ведь в Израиле такие заведения функционируют вполне открыто».

Нет, дорогой мой читатель, речь не идет о многочисленных «махонах бриюта»<sup>19</sup>, что светятся разноцветными лампочками в районе старой автобусной станции, или темных переулках квартала Флорентин<sup>20</sup>, где трудятся нелегалки из стран СНГ или же представительницы южной Азии.

В дорогих районах большого Тель-Авива существуют десятки частных квартир, где принимают гостей в свои объятия жрицы любви совсем другого сорта. Каким образом туда смог проникнуть лихой «бухарец» Миша, так и осталось загадкой. На все расспросы господина Н., Миша лишь разнообразно и хитро подмигивал и неизменно отвечал:

– «Паслюший, Шимон, какой тэбэ разныця? Кырасывый бабы есть? Есть! Выпивка есть? Есть! Сто долларов платы – ымеешь удаволствия всу ночь!

Что ж, в его нынешней холостой одинокой жизни выбирать не приходилось, да и в тайном «частном» борделе все же работают женщины другого уровня, и меньше шансов заразиться всякой дрянью. Тем более, что господин Н. к тому времени уже пол-года, как разругался со своей прежней подругой и жил один. «Сто долларов – четыреста пятьдесят шекелей, – прикинул он про себя, – десятая часть месячной зарплаты. Ну, да ладно. Если пару раз в месяц сходить для здоровья к одной и той же девочке, девятьсот шекелей... Многовато, но ничего, подежурю пару-другую суббот, компенсирую». В Израиле он стал скуповат и привык считать деньги, чего раньше, в России, за ним не водилось. Он снимал «полуторную» квартиру один, за 400 долларов в месяц. Многовато для одиночки, и район – так себе, но брать компаньона

<sup>19</sup> махон бриот – буквально – институт здоровья, попросту – бордель (ивр.).

<sup>20</sup> «Шхунат – Флорентин» – район южного Тель-Авива, где находится много увеселительных притонов (ивр.).

на съем не хотел категорически, так как и в молодости-то плохо сходилась с людьми, а уж, разменяв «полтинник», и подавно не хотел делить жилплощадь с чужим человеком.

Он часто вспоминал их первую встречу где-то в районе Университета, на частной квартире, где, казалось, каждый угол был пропитан томительным и обещающим многое восточным развратом. И... она появилась, возникла перед ним в полумраке маленькой комнаты, где темно-бордовые тона мебели и стен и крутящийся под потолком блестящий шарик только подчеркивали белизну ее сильных, полных округлостей. Черные чулочки с блестками, прозрачная распашонка, наклеенная улыбка яркого полного рта, бьющий в глаза макияж – все эти атрибуты готовой к безудержному сексу проститутки, не могли заслонить от внимательного взгляда господина Н. ее больших серых славянских глаз и разлитой в них какой-то, специфически российской, тоски. Вот эта грусть и смутила его тогда, пришедшего в этот тайный притон, разогретого коньяком, распаленного желанием доступной «любви». Но этот ее серый тоскливый взгляд, ее скуластое, совершенно российское лицо, это русое густоволосье, рассыпавшееся по полным сильным плечам... Все это так не вязалось с черным прозрачным нарядом и размазанным ртом шлюхи... И вместо того, чтобы завалить ее на тахту, господин Н. внезапно смутился, как старорежимный гимназист шестого класса, и окончательно приуныл, почувствовав, что его «верный друг» увял, и взбодрить его вряд ли удастся. Но она, Валечка, поняла, почувствовала тогда его состояние, и так нежно, деликатно поговорила с ним о каких-то пустяках, убрала в комнате лишний свет, выключила дурацкую музыку, и в полумраке, шурша чулочками, так настроила г-на Н. на нужную волну, что он внезапно бешено овладел ей и тут же, опустошенный, рухнул рядом, а она счастливо смеялась и утешала его:

– Ну... вот видишь... все же хорошо... все в порядке, мужичок...

А потом... нет, в тот раз больше ничего не было. Лежали на тахте, она обнимала его, прижималась лицом к груди. Он стал приходить к ней на эту квартиру, уже не считаясь с тратами, все более, от раза к разу, чувствуя себя сильным мужчиной, как в прежние, «доэмигрантские», времена. Потом (как-то так само собой вышло) они стали встречаться вне «дома свиданий». Сидели вечерами в маленьких кафе в районе тель-авивской набережной, рассказывали друг другу свою жизнь. Впрочем, рассказывал в основном господин Н., Валентина больше помалкивала. Зато она умела слушать. Прежние подруги господина Н. предпочитали говорить сами.

Из ее скупых рассказов он узнал лишь, что жила она в Саранске, с мужем разошлась за пару лет до эмиграции, работала в каком-то КБ старшим инженером. Когда рухнул Союз, и жизнь стала совсем непереносимой, уехала со старухой-матерью и тринадцатилетней дочкой в Израиль. Здесь мыкалась, как и многие женщины-одиночки, убирала квартиры и офисы, вечерами падала от усталости, денег на съем квартиры, на учебу дочки и прочее не хватало... Случайная подруга предложила эту «работу» по обслуживанию богатых клиентов.

– Ты что, Валька? Такая баба шикарная, местные мужики на блондинок западают, а ты будешь здесь унитаза драить, да плевки вытирать?! Лучше уж богатым старичкам передок подставлять за хорошие «бабки»!

Выхода, как ей тогда казалось, не было, и она согласилась.

Оба избегали разговоров на эту скользкую тему, и господин Н. не устраивал ей «разбор» типа «как же ты могла...» и т. д., но как-то, во время очередной их встречи в уютном ресторанчике с видом на море, Валентина мягко положила свою крупную теплую ладонь на его руку и сказала:

– Знаешь... Я ушла оттуда. Совсем. Может быть, я опять ошибаюсь, но мне почему-то показалось, что у нас с тобой это всерьез и надолго. Не волнуйся, если ты не захочешь, я не буду навязываться. Конечно, тебе решать... Но туда я уже не вернусь.

И ее слова, сказанные так прямо и просто, и открытый, теплый взгляд ее серых глаз, и голос ее, согревающий душу... Он, сам не ожидая от себя, произнес:

– В нашей фирме нужна уборщица... Всего два офиса убрать – часа на четыре работы, хозяин платит сорок шекелей в час, пять дней в неделю, плюс проезд оплачивают, три шестьсот в месяц, ну, и моих четыре с половиной чистыми... Проживем, Валя, не волнуйся!

Она потом часто вспоминала это, сказанное им, «проживем, Валя». Да, с Валентиной ему крупно повезло, она оказалась не просто женщиной в его вкусе, она оказалась еще и доброй женщиной, что в нынешнем мире, так легко погрязшем во взаимной ненависти, в этом новом мире всеобщей продажности, является музейной редкостью.

И вот к этой доброй женщине господин Н. как раз и собирался сегодня в гости. Он приготовился, купил в «русском» магазине шоколадный торт «Прага», бутылочку вишневого ликера (она очень любила этот ликер). И еще один интимный подарок: две пары черных чулок. Специально ходил в торговый центр Дизенгоф и долго выяснял там у продавщиц, какой размер подходит Валухе, она же крупная, с широкими бедрами, не то что нынешние тощие «плоскодонки». Купил «экстралардж», наверное, подойдет...

Он бросил взгляд на быстро вечерееющее небо, наскоро ополоснулся под теплым душем, побрился новым лезвием, побрызгался дорогим дезодорантом, приберегаемым для особых случаев, осмотрел себя бегло в зеркале. Лицо показалось ему каким-то босым и помятым, под глазами набрякли мешочки, на лбу довольно резко рисовались морщины...

«Ч-черт, какое все у меня стало старое лицо, – с досадой подумал господин Н. – Ведь еще совсем недавно ничего этого не было... Время, время...»

Однако, надо было торопиться, солнце уже падало за серые громады домов, и синие сумерки растекались по углам его убогой квартирки. Господин Н. заторопился, втискиваясь в свежестирированные джинсы, облачился в новую рубашку синего цвета, застегивая джинсы, с досадой отметил, что потолстел в поясе («черт знает, что такое, и морщины на лице, и брюхо выросло!»), в прихожей пробежался щеткой по «парадным» полуботинкам (одевал только в таких случаях, на работу предпочитал кроссовки), быстрыми аккуратными движениями упаковал в большой пластиковый пакет сверток с чулочками, торт и бутылку ликера, выключил свет, дважды повернул ключом в замке и шустро выскочил из дому.

Возле автобусной остановки купил в киоске газету «Новости недели» (он любил эту газету за несложные кроссворды и интересные дайджесты) и (какая удача!) пяток красных роз в прозрачной обертке. Валентина, как и всякая женщина, любила цветы и, наверняка, будет рада. Автобус подкатил неожиданно быстро и, войдя внутрь, господин Н. удовлетворенно отметил, что есть много свободных мест. Он уселся у окна, пристроил увесистый пакет на свободное сиденье рядом и с удовольствием смотрел на проплывающие мимо бетонные туши домов, окутанные сонной зеленью больших раскидистых деревьев. Воздух из кондиционера приятно охлаждал лицо, и... вообще, все складывалось удачно в этот вечер. И все же что-то неприятно царапало в душе, не давало покоя.

«В чем же дело? – спрашивал он себя. – Почему так нехорошо? Неужели из-за этого дурацкого сна? Ну, подумаешь...

Кусочек далекого детства... Бабушка... накрытый в саду стол. Рогастики... Стоит из-за этого расстраиваться? Тетка Рита, наверное, просто бы посмеялась надо мной. Или резко бы одернула. „Слюнтяйство, Сенечка, рефлексия. Делом надо заниматься“. Так, кажется, она говорила. И правильно. Нечего зря душу травить».

Автобус между тем выехал на набережную, и господин Н. увидел верблюжий горб цвета червонного золота, быстро тонущий в густой синеве моря, и малиновые краски закатного неба. Ему захотелось немного подышать морским воздухом, и он сошел на остановку раньше. Ее дом находился через два квартала. Господин Н. посмотрел на часы. До их встречи оставалось еще полчаса, и он решил прогуляться вдоль набережной. Надо было успокоиться, привести мысли в порядок, ведь ему предстоял вечер с Валентиной. Он сел на одну из скамеек. Мимо прогуливались пожилые пары, в основном это были «русские», проходили шумные стайки местной

молодежи, внизу шумело близкое море, выбрасывая белую пену на песок пляжа, подмигивали в подступившей темноте разноцветные огоньки кафе и ресторанчиков, словом, кипела вечерняя жизнь приморского города, но господин Н. не замечал этого. Тоска снова сжала горло. В груди собрался знакомый противный комок, грозивший взорваться приступом плача.

«Господи, что же это со мной сегодня? Надо взять себя в руки, это никуда не годится. Подумаешь, из-за какого-то слова... Рогалик... „Возьми рогалик, Сенечка... Тебе вкусно? На здоровье... расти большой и умный...“ Стоп. Надо немедленно прекратить... Как там говорила незабвенная тетя Рита? „Если хочется плакать, быстро представь себе что-нибудь очень смешное и глупое. Например, пожилого соседа, сидящего на унитазе «орлом»...“»

Господин Н., окаменев от напряжения, всматривался в морской горизонт, на котором исчезали последние, темно-рубиновые сполохи заката. Но вот и они погасли, и в захватившей все пространство темноте переливались огоньки пляжных кафе, а глубоко внизу скалилась прибойной пеной черная масса Средиземного моря. Смешное и глупое на память не приходило, но огромное морское пространство, слившееся с темным бархатом неба, мерцающие в вышине звезды и теплый ветер, дующий с моря, все это успокоило расхолодившиеся нервы. Он посидел еще несколько минут на скамейке, глубоко вдыхая легкий морской воздух. Взглянул на светящийся циферблат наручных часов. До встречи с Валентиной оставалось четверть часа. Как раз успеть дойти до ее дома, если не торопиться. Господин Н. встал и пошел по прогулочной дорожке в сторону новых «высоток», где жила Валентина.

«Хорошо, что у него есть еще немного времени, чтобы стереть с лица и с души все следы недавнего огорчения. Валя умна и сразу почувствует плохое настроение. Женщина она, конечно, хорошая и очень добра к нему. Но даже она не должна видеть его минутных слабостей. Для нее он должен оставаться сильным мужчиной. Оптимистом. А воспоминания... Бог с ними, с воспоминаниями».

Господин Н. быстро пересек улицу и пружинистой походкой направился к ее дому. Из распахнутых дверей ближайшего кафе доносилась веселая музыка. Голос популярного в этом сезоне израильского певца летел вдоль улицы:

– Тода аль коль ма ше натата!.. (Спасибо, Господи, за все, что ты мне дал!..)

Душа господина Н. окончательно успокоилась. Он думал о предстоящей встрече с Валею. О том, как они будут сидеть, держась за руки, и разговаривать, о том, как она позже будет стелить постель в салоне, и о том, что у них целых два дня отдыха. Все в этом реальном мире стало на свои места, и надо было жить дальше...

## Глава вторая

### Старый дом в квартале Флорентин (Лето 2003 года от Р.Х.)

Запись в дневнике г-на Н.

«... Я только что расстался с Софой. Софочка, очаровательная голубоглазая блядесса, была уже «ватикой»<sup>21</sup> (двадцать лет в стране!) и два года выдаивала из меня все мои деньги, а ночами и мою сперму досуха, так что по утрам я вставал на работу опустошенный. Эта была ее тактика. Она говорила:

– Ты, дорогой, принадлежишь только мне. Не смей даже смотреть на сторону. Все твое хозяйство только мое.

И забирала мое «хозяйство» в свою ладонь каким-то похабным движением. По-женски она была права: среди ее подружек было много очаровательных поблядушек критического возраста, которым уже было все равно с кем, лишь бы побольше и почаше. Поэтому Софа ревностно охраняла свой альков. Вставал я на работу рано, в пять утра, трудился на раскопках в Кейсариин, ковырялся в античных развалинах. Было лето, стояла влажная жара, и силы мои стали понемногу таять. Конечно, я не возражал против софиных страстных объятий по ночам, ее изысканных минетов и позы «пьющего оленя», но когда человеку не двадцать пять, а сорок восемь, и он находится не в привычно холодной России, а в жарких субтропиках, то, согласитесь, еженощная поза «пьющего оленя» и регулярный недосып доконают даже Атланта, держателя Земли, не то что пожилого репатрианта, живущего на чужой жилплощади на птичьих правах.

Здесь климат и трудности адаптации нового репатрианта не располагают к сексуальным подвигам. Я стал отлынивать от супружеского долга, что и повлекло за собой скандалы и разрыв в отношениях. А тут еще, как назло, меня вдруг уволили с моей любимой работы, дававшей мне регулярный заработок и, что скрывать, моральное удовлетворение. Все же это была работа от университета, археология, а не уборка мусора или охрана кафе, как у большинства бывших соотечественников в Израиле.

Я попал на пособие по безработице и забегал, как таракан, в поисках мало-мальски приличной работы, чем еще более оттолкнул «ватику» Софочку. Она стала стесняться ходить со мной к своим еще более успешным друзьям.

Однажды, вернувшись с очередных поисков работы, я застал свои вещи собранными в большой узел, а сверху лежала записка: «Дорогой, если ты в течение двух часов не выметешься из моей квартиры, то я приеду с нарядом полиции».

Поскольку она знала местные законы и имела собственного адвоката, а я тогда был еще «оле хадаш»<sup>22</sup> с голым задом, пустым карманом и скверным знанием иврита, то я не стал испытывать судьбу, а тихо съехал вон. Пожив неделю у приятеля, снял однокомнатную квартирку на последнем этаже этого замечательного дома с полукруглым фасадом, выпирающим на самый угол тель-авивской улицы Алиа...

Я увидел эту странную женщину на третий день после переезда. Была пятница, канун шаббата, я в тот день не работал. Разбирал коробку с книгами, раскладывал на две маленькие полочки (к чести хозяина надо заметить, что квартирка моя была меблированной) и вдруг услышал характерное шлепанье мокрой тряпки возле своей двери.

---

<sup>21</sup> ватика – женщина-старожил (ивр.)

<sup>22</sup> оле хадаш – новый репатриант (ивр.)

Выглянув, увидел женщину неопределенного возраста, ловко управляющуюся со шваброй и ведром. Ступени, ведущие на крышу, (моя комната находилась на последнем этаже) блестели чистотой. Женщина обернулась, сверкнули в полумраке белки глаз и улыбка. С виду она была типичная «мизрахит»<sup>23</sup>, одетая, как религиозная женщина: длинная юбка, кофта с длинными рукавами, черная косынка.

– Здравствуй, хабиби!<sup>24</sup> Ты новый жилец? – голос у нее был низкий, хриплый, типичный для «восточной» женщины. – Давно переехал?

Лицо ее было скрыто в полумраке коридора, но что-то мне в нем показалось странным. Как будто оно вдруг зарябило и разъехалось полосами, как при помехах в телевизоре. Я помотал головой и видение исчезло. Лицо как лицо, смуглое, с выбившимися из-под косынки локонами и блестящими белками черных глаз. Возраст ее было трудно определить. Я коротко ответил ей, не желая продолжать разговор, и осторожно поднялся по влажным ступенькам к выходу на крышу.

Крыша блестела черным гудроном (недавно прошел дождь), по периметру шла невысокая, метровая, стенка. Я услышал голос женщины, она звала меня, но когда я вновь окунулся в полумрак коридора, то не увидел ее, только шлепала мокрая тряпка где-то внизу.

– Слышишь меня? – ее голос звонко отскакивал от стен. – Ты не особенно гуляй там, на крыше!

– Почему?

– Не спрашивай! Не ходи туда и все. Ни к чему тебе это.

– Не бойся! Не свалюсь, там же стенка, – ответил я женщине, удивляясь ее заботливости, но ответа не получил.

Я спустился на два пролета вниз, но там никого не оказалось. Женщина исчезла вместе со шваброй и ведрами, как будто и не было ее вовсе. Только влажные ступени говорили о том, что мне все это не привиделось...»

---

<sup>23</sup> *мизрахит* – женщина-выходец из стран Востока (ивр.)

<sup>24</sup> *хабиби* – дорогуша (араб.)



## Глава третья (Зима 2006 года) Вечер поэзии в Тель-Авиве

Однажды, мокрым зимним утром, когда господин Н. только что вернулся с ночного дежурства в одной из тель-авивских «высоток» и медленно приходил в себя после трудной бессонной ночи, в его холостяцкой норе вдруг зазвонил телефон, назойливо, резко и весело.

Господин Н. только что позавтракал (вяло прожевал яичницу), медленно пил горячий цветочный чай и настраивался на то, что сейчас он нырнет с головой под одеяло и будет до-о-лго и со вкусом спать, спать, спа-а-ать... Но в этот раз инстинкт самозащиты не сработал. Обычно в таких случаях господин Н. трубку не брал, а если беспокоила нежная моцартовская мелодия на мобильнике, то не реагировал, а сразу выключал назойливого сверчка. Но то ли оттого, что утро было таким пасмурным, необычным для израильской весны, то ли оттого, что звонок показался таким легким, веселым... Звонил Алекс по кличке «Кобра», поэт и переводчик с энного количества языков и автор историко-лингвистическо-философского эссе о происхождении праславянского языка от иврита и арамейского.

– Здорово! – загудел шмелем в трубку «Кобра». – Не разбудил? А-а, я забыл, что ты с ночной! Слушай, тут должен вечер состояться, поэтический!

– Какой еще вечер? Где?.. – после бессонной ночи господин Н. соображал с натугой, работа в ночную смену превращала мозги в жидкий студень.

– Ха! Ты не в курсе? А Френкель тебе не звонил? А Ровинская? А Ваухер? Тоже нет? Ну-у... Так знай! Завтра. В полшестого. На Каплан, шесть. Вечер поэзии. Поэты Большого Тель-Авива... Альтгауз, Меружицкий, Фулкаш, Ника Дерази... Из Иерусалима приедут наши юные гении... Петя Птиц, Соня Кац...

«Странно... Какие-то птичьи фамилии, – вяло подумал господин Н., – что-то душа не лежит слушать этих птичьих поэтов...»

– Ты там тоже заявлен! – продолжал меж тем «Кобра». – Давай, приезжай!

– Но я не поэт, – удивился господин Н., – я всю жизнь писал прозу, да и то, в основном, статьи на злобу дня...

– Как же, как же! Знаем, как вы плохо играете! – загалдел в трубку Алекс. – А твоя поэма о море? Давай, приходи! Ждем! Пока!

– Так это же верлибр, – вяло возразил господин Н., но трубка ответила короткими гудками.

«Черт знает, что такое, – подумал господин Н. с раздражением. – Петя Птиц... Соня Кац... какого хрена мне это надо...»

На самом деле причиной раздражения было вовсе не шумное приглашение «Кобры», ворвавшегося в его индивидуальный мир во внеурочное время. Дело было в другом. Если бы Алекс позвонил денька на два раньше! Можно было бы успеть договориться со старшим дежурной смены охранников, Юдой, чтобы перенес его дежурство на утро. А так... шансов не было. Если бы, конечно, у него сложились нормальные отношения со сменщиком Борькой Цедцером и завхозом Мироном Вайманом, то тогда и Юда не понадобился бы. Вот, к примеру, когда он работал в подземных гаражах «Ган-ха-Ир»<sup>25</sup> Вот там была дружная команда. А эти... Господин Н. невольно скрипнул зубами, вспоминая неурядицы на новом месте. А начиналось, вроде бы, нормально. Правда, Мирон, похожий на молодящегося гнома крепенький старичок, важно представившись заместителем начальника здания, подозрительно оглядел его и на просьбу ознакомить с обязанностями, внушительно произнес:

---

<sup>25</sup> Ган-ха-Ир\* – универмаг в центре Тель-Авива

– Мне, знаешь, сейчас некогда. Работы много. Подъезжай вечером. Борька-охранник тебе все расскажет...

Борьке тоже почему-то было некогда.

– У меня же через четверть часа смена начинается, – но увидев недоуменный взгляд господина Н., кивнул снисходительно. – Ну, хорошо, только быстро...

И действительно. Они быстренько пробежались по всем двенадцати этажам нового здания с экзотическим названием «Бейт-Африка» (почему «Бейт-Африка?»), точнее, проехали на лифте, потом спустились в душные помещения подземной стоянки.

– Здесь по всему зданию десять точек, которые ты должен обходить по ночам, отмечать. Три обхода за ночь, каждые два часа. Но на лифте ездить нельзя.

– Почему?

– А если лифт застрянет? Кто тебя вытащит? Ночью на смене ты один. Значит, пешочком, пешочком... Если кто-то из работников задержался, откроешь шлагбаум,пустишь. Вот тут, в будке, две кнопки. Открыл, закрыл. Ну и, если завоет сирена на пульте контроля, ну, там, пожар или что еще, проверишь и позвонишь начальству. Сам никуда не лезь. Понял?

– Есть еще что-нибудь? – господин Н., будучи человеком ответственным, кивнул на пульт управления, где горели и подмигивали цветные лампочки.

– Остальное тебя не касается! – отрезал Борька. – Ты ночной охранник.

– А разве здесь нет смен?

– Смены есть, – ответил Борька, чуть помедлив, – но ты будешь работать ночами. Так Мирон сказал. А он здесь царь и бог.

Господин Н. про себя удивился подобному раскладу, но ничего не ответил.

«Поживем – увидим», – подумал он.

Начинать работу на новом месте с конфликта не хотелось. Господин Н. не был конфликтным человеком, что вообще-то в Израиле было помехой. Здесь, по укоренившемуся мнению, надо было «стучать кулаком по столу», кричать и хватать за грудки, если хочешь чего-то добиться. А ему мешало его российско-еврейское воспитание. За столько лет так и не сумел себя переломить.

Его новый напарник Борис показался ему вначале вполне интеллигентным, компанейским парнем довольно приятной внешности.

«С ним можно договориться, – подумал господин Н. – Странно, что я должен работать только в ночь. Юда об этом ничего не сказал... И что это за Мирон, который здесь „царь и бог“? Ладно, со временем договоримся. Они же оба „русские“...»<sup>26</sup>

Но вот тут-то он и ошибся. «Ав-а-байт»<sup>27</sup>, а попросту говоря, замдиректора здания по хозяйству, Мирон, стал к нему цепляться по пустякам. Чем-то ему господин Н. не понравился. Однажды утром, когда г-н Н. с нетерпением ждал сменщика, вымотанный бессонной ночью и духотой, Мирон придрался к тому, что в одном из офисов четвертого этажа горел ночью свет. Господин Н. мягко возразил, что не имеет права заходить внутрь кабинета, да и на двери стоит кодовый замок. Это возражение почему-то вывело краснолицего гномика из себя, хотя, по сути, г-н Н. был прав.

– Ну-у, ты тупой! Вот же тупой какой! – Мирон скрежетал зубами от злости. – Я тебе сто раз говорил! Вот каких тупых присылают мне... А я тут мучайся! Нет, ты не можешь здесь работать! Я так и скажу Юде... Вот Борька – это золотой человек, все делает, как надо! А ты шмок, кусок дерьма! Убирайся домой!

---

<sup>26</sup> «русские» – так в Израиле называют всех выходцев из бывшего СССР.

<sup>27</sup> аавабайт – ответственный за здание, завхоз (ивр.)

Надо сказать, что господин Н. вовсе не был по жизни мягкотелой тряпкой. Спартанское воспитание покойной тети Риты давало свои плоды, да и занятия в юности разными видами спорта закалили его характер. Но... была у него странная черта: он терялся от внезапного, немотивированного словесного хамства. Правда, ненадолго. Как мангуст Рики-тики-тави в сказке Киплинга при виде ядовитой змеи. Но, вот эта его неуверенная пауза почему-то придавала хамам храбрости: «испугался, интеллигент вшивый»! Очевидно, Мирон был из этой неумирающей когорты интернациональных хамов. Господин Н. терялся еще и от того, что Мирон был еврей, а по странному, усвоенному по прежней жизни мнению, еврей, разумеется, хамом быть не мог, да еще по отношению к своему собрату-аиду, бывшему земляку. И хотя за столько лет в Израиле он неоднократно сталкивался с проявлениями этого пещерного качества и в местных евреях, и среди бывших соотечественников, но так и не смог привыкнуть к печальной мысли, что евреи по части хамства ничуть не уступают «гоям». Поэтому он недоуменно смотрел на кипящего ненавистью Мирона и думал, что в Москве лет пятнадцать назад не стал бы так долго «зависать» с ответом. Он даже не стал бы бить этого наглого зарвавшегося коротышку, а просто взял бы за шкуру и хорошо потряс. А может быть, и не потряс бы, может, кончилось бы там, на прежней родине, совсем по-иному. Скорее всего, посмотрели бы они с Мироном друг на друга и...

– Ты что, еврей?

– А ты?

– Ну, конечно!

И от сознания причастности к этой вечно унижаемой на территории Российской империи «касте», наверное, подружились бы, помогали друг другу... Что же случилось с нами в этой стране? Почему именно здесь мы становимся хамами, скотами и ублюдками по отношению друг к другу? Господин Н. часто задавал эти вопросы себе и другим, но адекватного ответа не было, и от этого становилось еще хуже. Задал он себе этот вопрос и сейчас, глядя в маленькие и злые мироновские глазки, чувствуя, как пальцы впиваются в ладони. Он быстро подавил неодолимое желание немедленно вмазать промеж этих бесцветных глазок. Драться здесь было нельзя, если хочешь остаться на работе. Он молча проглотил обиду и вышел из здания, затопил на подходивший автобус. В Израиле он стал молчалив и покорен обстоятельствам.

И с Борькой Цедицером, таким с виду интеллигентом, читавшим на работе книжки хороших российских авторов, тоже не сложилось. Дело в том, что Борька был мироновский протеже. Когда охранная фирма, где он трудился ранее, проиграла конкурс, то Борису, тогда еще совсем свеженькому репатрианту, светила в самом лучшем случае охрана супермаркета, восьмичасовое стояние на жаре, бесконечная вереница раздраженных покупателей с сумками, невозможность отойти в туалет или наскоро проглотить сэндвич. Где уж там почитать Дину Рубину и Каледина, сидя вечерами в уютном холле «Бейт-Африки»! Борька, не владевший тогда даже минимальным ивритом, бросился в ножки Мирону, и тот попросил начальство новой фирмы, чтобы Борьку оставили на прежнем месте. И Борьку оставили. Разумеется, за такое благодеяние Цедицер, наверное, был готов вылизывать «царю и богу» все места и, коль скоро новый охранник замдиректору по хозяйству «не пондравился», значит и Борька мог с ним особо не считаться. Именно так объяснял себе господин Н. отношение Бориса к нему, новому охраннику. А он-то, дурак наивный, еще и книжку ему свою совал, на, мол, возьми, почитай, это я написал и издал на свои кровные, здесь, в Израиле! Но на свежего репатрианта Цедицера, как лирические вирши господина Н., так и жесткая, суровая проза «об жизни в Израиле», никакого впечатления не произвели. Через неделю он молча сунул книжку господину Н. назад (чуть ли не в физиономию ткнул!) безо всяких комментариев. А на робкий вопрос:

– Ну, как тебе, что-то понравилось, или?..

Буркнул:

– Не знаю... Я не литературный критик.

На этом их интеллектуальный контакт закончился. А вскоре Борька начал придирается к господину Н., как-будто сам был его начальником. («Почему свет на стоянке не гасишь? Почему двери в служебные туалеты не запер?» – и т. д.). Все было ясно: Борька выслуживался перед Мироном, контролируя работу господина Н. Все попытки поговорить с ним натывались на странную враждебность, и господин Н. оставил Цедицера наедине с его злобой. На придирки и замечания старался не реагировать. Но иногда, глядя на узкое бледное личико, светлые усики и маленькие, неопределенного цвета глазки, посверкивающие стеклами очков, господин Н. внезапно ощущал прилив чего-то давно забытого из его ушедшей в прошлое спортивно-кулачной юности. Когда он еще был не господином Н., а просто Сеней Дрейзиным, капитаном факультетской сборной по регби, 85-килограммовым стремительным «качком», и с такими «рыбами-прилипалами» разговор у него был короткий.

«Вот она, демократия в действии», – вздыхал он про себя и отворачивался от мелкого подлеца Борьки, и уходил от греха подальше, уходил в себя, не дай бог, сорваться!

Отработанный годами тренировок автоматизм мог подвести, драка означала полицейское расследование и потерю рабочего места. А этого пожилой господин Н. позволить себе никак не мог, тем более теперь, когда в его жизни появилась Валечка, и обрисовалось какое-то подобие семьи. Поэтому и хук Мирону по печени, и макание Борькиной физиономии в ближайший унитаз – все это категорически отменялось.

Ясное дело, в такой ситуации нельзя было и помыслить, чтобы договориться по-хорошему с этой шатией-братией, поменяться сменами или, хотя бы, прийти на работу попозже часика на два. Но что-то, все же, надо было предпринять. И не то, чтобы очень уж хотелось господину Н. принять участие в выступлении «молодых поэтов», самому юному из которых уже было далеко за тридцать, но для него такие «тусовки» были отдушиной, неким наркотиком, временным отключением от каждодневной унижительной работы. От этого тупого вращения белки в колесе, превращающего образованного, разностороннего жителя огромного российского мегаполиса, книгодея и театрала, в задерганное и озлобленное существо с тусклым взглядом и животными инстинктами. Выхода не было. И он позвонил Юде.

Юда, ответственный за охрану нескольких новых «высоток» в центре Тель-Авива, ответил сразу, что было, как правило, ему не свойственно по причине крайней занятости. Юда молча выслушал крайне сбивчивую речь охранника Дрейзина о том, что он совершенно внезапно заболел и очень плохо себя чувствует (ну, очень плохо, температура высокая, голова болит, тошнота и...) и нельзя ли ему явиться на работу часа, так, на три попозже?

– Шимон, тебе нужен отгул? – спросил Юда хриплым командирским басом бывшего старшины спецназа «Голани»<sup>28</sup>. – Я даю тебе сутки. Отдыхай. Лечись. На работу выйдешь послезавтра в ночь. Бай!

Это была неожиданная и оглушительная везуха! Выбить у Юды суточный отпуск накануне очередного дежурства? Невероятно! Наверняка не обошлось без вмешательства Всевышнего. Теперь господин Н. мог спокойно, не дергаясь, отправиться на вечер поэзии под названием «Поэты большого Тель-Авива», и даже не один, а с Валечкой, (почему нет? все местные писаки являлись на такие тусовки с подругами), а Валечка, надо сказать, узнав, что ее «мужичок» к тому же еще и пишет, очень обрадовалась и, конечно же, с удовольствием составила ему компанию.

На Каплан, шесть, было шумно, дымно и безалаберно, в маленьком зальчике народу битком. За столом возле сцены, плотно заставленным алкогольными напитками и блюдами с легкой закуской, сгрудился поэтический президиум. Несмотря на царившую здесь атмосферу творческого беспорядка, некая, внушительных размеров дама, твердой рукой рулила этим сбо-

<sup>28</sup> Голани – мотострелковая дивизия в АОИ.

рищем, вызывая поэтов согласно списку, которым она время от времени театрально взмахивала.

Господин Н. с Валентиной забились в самый угол, где (господин Н. очень надеялся!) он рассчитывал отсиживаться во время выступлений.

Собравшиеся поэты реагировали на выступления коллег по перу весьма бурно. Особенный восторг вызывал необъятных размеров молодой человек баскетбольного роста, сверкавший обритым наголо черепом – поэт из Иерусалима Петя Птиц. Он громко читал, помахивая в воздухе массивной дланью, свои вирши, и все присутствующие были в полном восторге, особенно, когда он завопил на весь зал:

– Я так люблю тебя, что про минет и думать забыл!

Или, когда «на бис» исполнил (опять же очень громко) своего знаменитого «Раба»:

– ...Полоумной танцовщицей

У подножия  
Не вафлистом, а жертвенной девственницей.  
Не жопником, а наложницей Бога –  
В единственно правильной позе...

Бывшие в зальчике поэты и особенно поэтессы ликовали, поэт Меружицкий, размахивая руками, горланил с места:

– Да-да, «не жопником, а наложницей Бога»! Это замечательно! Конгениально!

Валечка, впервые присутствовавшая на таком поэтическом сборище, была довольна и очень смеялась. Потом выходили другие, читали что-то, то проборматывая невнятно, то перекрикивая шум поэтического сборища. Валечке очень понравился один низенький пузатый толстячок, он читал, закатывая глаза, как он пояснил при этом, «не собственные стихи, но очень гениальные, не могу удержаться»:

– ...И если мы возьмемся за срамные части,  
В прелестном месте, в малейшей части,  
А если мы возьмем рукой срамные части,  
К несчастью выйдет – та же нагота!

– Ой, Сенечка, как же он такое читает вслух? Знаешь, наверное, у него непорядок с мужскими делами. Надо ему чаще к девочкам ходить... Но сам он забавный!

А потом взгрустнула, услышав стихи про мойщиков окон:

«...В немытой неустроенной стране,  
Привычной к непотребным переменам,  
Ползут рабы-невольники по стенам.  
Приговоренно – лицами к стене».

– Ох, правду сказал! Я, вот, тоже видела... Так работают ребята! И не страшно им на такой высоте? Я всегда их жалела, бедных. Так жизнью рисковать – никаких денег не надо!

Дошла очередь и до господина Н. Не сумел-таки отсидеться в дальнем углу. Он прочитал кое-что из раннего своего, про израильского парня-солдата, погибшего в Ливане. Потом кто-то крикнул с места:

– Прочтите «Поэму о Севере»!

И он нехотя (и чего этот верлибр так им полюбился?) прочитал кусок поэмы о заблудившемся в ледяном тумане ржавом сейнере. Свое ностальгическое воспоминание о давней

экспедиции в Баренцевом море, такое нелепое и ненужное в здешнем липком и удушливом климате. Ему тоже хлопали, а Валечка сияла глазами и очень гордилась.

Ехали домой поздно, за окном автобуса густела чернота накотившей тель-авивской ночи, светящейся цветными окнами домов. Валентина, прижимаясь к нему своим сильным телом, щебетала что-то радостное, выступления поэтов, видно, возбудили ее. Господин Н. слушал ее, кивал, улыбался. Но внутри его разворошенной «вечером поэзии» души, поднималось знакомое ощущение тоски и злости. И соткался перед внутренним взором в замкнутом пространстве рейсового автобуса знакомый портрет... Холодные выпуклые глаза под массивным лбом, ироничный изгиб рта, жесткий стоячий ворот гусарского мундира...

«Скажи мне, ветка Палестины,  
Где ты росла, где ты цвела?  
Каких холмов, какой долины  
Ты украшением была?  
У вод ли чистых Иордана  
Востока луч тебя ласкал,  
Ночной ли ветер в горах Ливана  
Тебя сердито колыхал?»

– Ты чего там шепчешь, мужичок? – Валентина затеребила его сбоку. – Ты чего?

– Ничего. Так, ерунда... Не обращай внимания...

«Да уж, ерунда, – думал он с нарастающим раздражением. – Господи, ну почему? Почему ни один из этих, сегодняшних, не то что, не поднялся до уровня этого мальчишка, так глупо погибшего сто шестьдесят лет назад, а даже и не приблизился на дистанцию морской мили к его ранним стихам? Что же мы за такое бездарное поколение? Что с нами со всеми произошло? Где оправдание перед Богом за наше убожество? Холокост? Страх родителей перед сталинскими «чистками»? Тусклая жизнь в эпоху застоя? Эмиграция? Чушь! Отговорки убогих душ. И ведь есть же среди них, среди нас, то есть, талантливые... А что в итоге? „К барану волк подкрался, но тут пропел петух, зверюга испугался, умчался во весь дух“. „Мальбрук в поход собрался... Тра-та-та-та-та... В походе обо...ался, и тра-та-та-та-та...“ Или, вот еще, конгениальное: „На въезде в город Энск, стоит от века Сфинкс и никуда не лезет, хотя порою грезит... Я вылезаю паленый и факельный, мною задеты, шипят провода. А в атмосфере, как в старенькой Англии, морем процеженным пухнет вода...“. А? Класс! Ну и, конечно, вершина вдохновения: „Как генерал, сортиры моющий в эмиграции, за дайм отсасывал в туалете... И хочется какать и она-нирывать...“. Ну и онанируйте себе на здоровье. Только поэзия тут причем?».

– Сень, нам выходить! Задумался?

– Да, конечно. Извини...

Вышли из прохлады автобуса в теплоту ночи. Прогулялись немного по маленькому парку. Валя, догадавшись о его состоянии, ни о чем больше не спрашивала, молча шла рядом, держала под руку. Тоска и злость уходили, прятались в потаенные уголки сознания. Господин Н. вздохнул, вспомнив, что завтра снова на дежурство, снова выслушивать ворчание Мирона, ловить Борькины косые взгляды и бегать бессонными ночами по зданию, отмечаясь в контрольных точках. Опять начнется каждодневная, убивающая душу рутина. Перед тем, как зайти в подъезд, постояли немного перед домом, вдыхая теплый весенний воздух. Шипя и брызгаясь, работали «поливальки», освежая траву и кусты.

– Сень, смотри, акация цветет. Правда, красиво?

– Н-нда... Вот, скажи, Валь, тебе нравятся эти строки:

«Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит.  
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу  
И звезда с звездою говорит...»

– Так это ж песня, Сень! Народная... Конечно, нравится! Еще мама моя, когда ей грустно, напевает:

«В небесах торжественно и чу-удно  
Спит земля в сиянье-е го-олубом...  
Что же мне так бо-ольно и так тру-удно  
Жду ль че-его? Жа-алею-ю ли о че-ем?».

– Вот именно, песня! Песня... Ладно, Валь. Пойдем домой. Завтра вставать рано...

Уже заходя в подъезд, он оглянулся. Тревожно шумела под ветром акация. И тонкий серпик месяца смотрел с ночного неба сквозь ее ветви.

## **Глава четвертая**

### **Дверь на крышу**

#### **(Запись в дневнике г-на Н. Октябрь 2003.)**

«...Про дверь на крышу она не зря мне сказала. Но я, конечно, тогда ей не поверил. Какая-то «восточная» баба, набитая под завязку суевериями. А я такой, весь из себя образованный, современный человек. Законченное высшее. По израильским меркам – вторая степень. Магистр естественных наук. Звучит! «Не ходи на крышу!». А я как раз любил ходить на крышу и заниматься там зарядкой. На крыше и дышится легче, даже в жару. Да и вид на район Флорентин с крыши не такой убогий.

Короче, не обратил я внимания на слова этой «восточной» уборщицы. Дверь на крышу была самая обыкновенная: фанера, оббитая дерматином, на ржавых скрипучих петлях. И постоянно открытая. Даже в плохую погоду. Но мне это абсолютно не мешало. Особенно зимой, когда я, возвратившись с очередного ночного дежурства, сидел в продавленном старом кресле, закусывая бренди яичницей с луком, и слушал, как мерно барабанит по крыше серый тель-авивский дождик. В такие минуты мне было хорошо и покойно на душе, я погружался в расслабленно-дремотное состояние, и странные видения возникали перед глазами, то ли сны, то ли фантазии наяву...

В первый раз это случилось через пару месяцев после моего переезда. Было совсем не израильское осеннее утро. Вторая половина октября. Ветер гнал темно-серые тучи с моря, желтые палые листья, обрывки полиэтиленовых пакетов... Я блаженствовал после принятия внутрь порции жареной картошки и пары стаканчиков «Абсолюта». Окно в комнату было открыто. Шелестели ветви старой акации во дворе.

И вот тут... внезапно возникло это странное состояние... Я как бы лишился тела и медленно стал выплывать в открытое окно. Вместе с креслом, на котором сидел... Вот и моя крыша, влажная от начавшегося дождя... Я медленно уплывал в кресле куда-то вверх... Верхушки старых деревьев...

И-и-и... Б-баа-а-а-ам-м!!

Взрыв бухнул в уши, небо резко ушло вверх, и на меня, вжавшегося в бурую стенку окопа, посыпалась сверху земля. Гудело в ушах. Вокруг меня, как в замедленной киносъемке, двигались странно одетые люди. Двое из них, в одинаковых синих комбинезонах и стальных касках наклонились ко мне и один, обдав запахом спиртного и табака, что-то спросил. Я заметил, что оба вооружены маузерами старого образца. В глаза бросилась эмблема на рукавах с надписью «POUM».

Поум... поум... Что это, – поум? Название организации? Воинское подразделение? Не могу вспомнить...

Я не понимал их язык, и это было самое скверное. Один из них грубо схватил меня за руку, пытаясь поднять, второй, высокий бородач, навел на меня маузер. Черт! Куда я попал? Или это сон? Но маузер из забытых времен был так же реален, как реален был запах пота и перегара от двоих в касках, как реален был странный гул, шедший с нестерпимо синего неба, как реальна была коричневая глина траншеи, в которой я очутился.

Внезапно тех двоих резко заслонила веселая мордашка в синем берете, лихо сдвинутом на правую бровь, пара бархатных глаз взглянула в лицо, и безупречные коралловые губки произнесли:

– Мартин! Хуго! Оставьте! Видите, он контужен и ничего не соображает? Вы меня слышите, товарищ? Как вас зовут?

И, о чудо! Я сразу понял ее.



Она говорила по-испански. Но откуда у меня знание испанского? Я учил немецкий в школе и в институте. И еще немного английский с преподавателем. Но я понял, что говорила эта милая «Кармен» с веселой улыбкой яркого рта и черными огнями глаз.

Я сидел на краю траншеи, медленно осваивая новую действительность... Перед глазами было поле, перепаханное снарядами, слева виднелись какие-то белые домики под красными крышами... По траншее передвигались люди в синих комбинезонах, защитных френчах и странных пилотках красно-черного цвета. Я повернулся и почувствовал чей-то жесткий сапог, упершийся в бок. Развернувшись, увидел молодого паренька в штатском пальтишке, облокотившегося на станковый пулемет, черный ствол которого смотрел в синеву неба. И над всей этой нереальной картиной стоял высокий неумолкающий гул... Милая медсестра, машинально поправив повязку с красным крестом, продолжала:

– Ты из батальона имени Чапаева, товарищ? Как тебя зовут?

– Нет, он не анарх, – отозвался один из «комбинезонов», – у них пилотки красно-черные... Ты что, не понимаешь по-испански? Эй, француз, поговори с ним!

Слева надвинулось сухощавое лицо, напоминающее отточенный топор гильотины, светлая прядь волос падала на лоб из-под синего берета, два стальных глаза внимательно глядят из-под очков:

– Отвечайте, товарищ. Вы из батальона анархистов?

Первую фразу, произнесенную на французском, я не понял, но он повторил ее по-немецки. И тогда из глубин моей заскорузлой памяти, из детского далека, из уроков нашей училки, доброй Тамары Густавовны, а может, и под действием черного зрачка маузера, продолжавшего смотреть в мою сторону, из моих спящих извилин выползла забытая фраза на немецком:

– Я из двенадцатой интербригады...

«Черт дернул! Почему из двенадцатой интербригады? Ведь они же проверят! Да я вообще не из какой бригады, и вообще не отсюда. Ну, и как теперь выкручиваться?».

– А-а, так вы интербригадовец? – «Француз» сразу подобрел лицом, жесткие складки у рта пропали, но глаза под окулярами смотрели внимательно. – Но как же вы у нас оказались? Вы немец?

– Н-нет...

«Черт! А кто же я? Надо что-то соврать...».

– Я так и понял. Вы – русский.

– Почему вы так решили?

– У вас характерный славянский акцент. Я знаком с советскими товарищами. Приходилось бывать в СССР. Но вы не волнуйтесь. Я в курсе, что вы должны соблюдать конспирацию. В двенадцатой интербригаде много ваших... Все в порядке, – кивнул он остальным. – Товарищ из двенадцатой! Но как вы оказались здесь? Насколько мне известно, ваших еще вечером перебросили в Каса-дель-Кампо...

«Господи, что же я ему скажу?». У этого француза в синем «комбезе» были хорошие, честные глаза. Я вдруг подумал, что в своей жизни практически не встречал такого прямого и честного взгляда. «А если сказать ему правду? Разве он поверит?».

– Как вас зовут?

– Зачем вам? Ну, допустим... Рене.

– Скажите, Рене, чем вы занимались до всего этого?

– Вы хотите узнать мою мирную профессию? Я физик. Преподавал в Лионском университете. У меня была лаборатория. Я изучал физическую природу шаровых молний... Но сейчас это не важно...

– Тогда вы можете меня понять!

– Что значит – понять?

– Знаете, если честно, я не из Интербригады. Я вообще не имею к вам никакого отношения! Потому что я вообще не из этого времени! Я попал к вам из будущего!

– Откуда?

– Из будущего. Понимаете, я не знаю, как это получилось. Я сидел у себя дома, в Тель-Авиве...

– Постойте. В Тель-Авиве? Но... Это же, кажется, Палестина...

«Черт! Ведь сейчас у них тут тридцать седьмой год. Израиля еще нет и в помине...».

– Ну, да... Палестина. Я живу там. Но в будущем. Там сейчас государство Израиль. Но это не важно... И вот, вдруг все сместилось... пространство... время... И я очутился здесь, среди вас.

И тут я заметил, что остальные бойцы вовсе не заняты своими делами, а собрались вокруг и пристально смотрят на меня и на Рене. Они все слышали. Здоровяк «поумовец» молча крутил пальцем у виска, его напарник в каске снова навел на меня маузер, санинструкторша «Кармен» смотрела с жалостью. А парнишка в штатском пальто вдруг ударил себя по коленям, рассмеялся и громко заявил:

– А что? Очень может быть! Вот я читал в общежитии моего университета книжку одного француза, не помню, как его звали, так там тоже главный герой попал в будущее. Только оно было каким-то мрачным, капиталистическим. Я бы не хотел там оказаться!

Рене внимательно смотрел на меня сквозь окуляры в стальной оправе, и я понял, что от его решения зависит сейчас мое будущее, что он не только командует всеми этими людьми, но и пользуется их безграничным доверием. И стоит ему только мигнуть, и меня потащат, несмотря на мои возражения, крики и мольбы, мимо всех этих запыленных, изможденных боями, обозленных гражданской войной людей, за край окопов, чтобы вывести в расход...

– Н-ну, хорошо, – сказал он, иронично скривив тонкие, сухие губы. – Возможно, вы не врете, все так и было... Во всяком случае, вы не похожи на шпиона фалангистов. Да и одеты как-то странно... А уж лазутчиков Франко я повидал достаточно, – обратился он к окружающим нас людям, и оба «поумовца» важно закивали. – Мы, к сожалению, плохо еще знаем окружающий нас мир. У нас было мало времени, чтобы его изучать. Но теперь, когда мы разобьем фашистов, – тут голос его налился металлом, – И создадим новый мир...

И в это время дальний грохот прервал его речь, и внезапно, в десятке метров перед линией окопов вздыбилась земля. Что-то засвистело в воздухе, Рене что-то крикнул на испанском, и его бойцы мигом рассредоточились по траншее, парень в пальто припал к пулемету, ударившему в мои уши безобразным грохотом, и только красавица-санитарка, глазевшая на меня в детском восторге, крикнула:

– А ты правда оттуда?! Из будущего?! Тогда скажи – мы победим?!

Мог ли я в тот момент сказать ей правду? Горькую правду о том, что Испанская республика, преданная Сталиным, будет разгромлена, что двести тысяч республиканцев будет убито в ходе боев, десятки тысяч погибнут после войны в заключении и полмиллиона уйдут в изгнание. Каудильо Франко будет господствовать над страной более тридцати лет. А демократы, пришедшие к власти после его смерти, провозгласят примирение и поставят крест над теми и другими в Долине павших. Забудем прошлое.

Ее глаза нависли надо мной, требуя немедленного ответа.

– Все будет в порядке, Кармен! – крикнул я. – Вы победите! Только не сразу... Потом... Пройдет время и...

– Я знала! – сверкнула она глазами. – Мы не можем проиграть. Только я не Кармен, а Глория! Идем с нами. Сейчас будет атака.

И сразу все вокруг загрохотало выстрелами, криками, земля задрожала. Кто-то из бойцов упал, выронив винтовку. Я подхватил горячий ствол, но тут меня накрыло взрывом...

...И я снова очутился в старом кресле, вокруг меня была черная крыша моего дома, и толстые ветви тополя приветливо кивали, шелестя:

– С возвращением, с возвращением...

Я долго приходил в себя. Хватанул изрядную дозу водки, не раз помянув тихим словом уборщицу-колдунью и радуясь, что все это мне поместилось. Все же хорошо жить во времена относительного плюрализма, а не классовой борьбы, думал я, ощупывая драную тахту, на которой через мгновение с удовольствием растянулся и забылся сном.

Но потом, прокручивая в памяти удивительный миг исторического прошлого, этот день, окутанный дымом взрывов, день, заглушаемый дробным перестуком винтовочных выстрелов и пулеметной трескотней, я вспоминал командира отряда анархистов Рене и его бойцов. И приходил к грустному выводу, что с этими грубоватыми ребятами мне было бы легче жить на свете. С их прямоотой, честностью и абсолютной верой в правоту своих наивных идей. Я часто вспоминал, как они шагнули по команде из траншеи на верную смерть, и кто-то развернул на ветру черный стяг с красной звездой. Никто из них даже не подумал спрятаться за спины товарищей или на дно траншеи...

Но почему мне привиделся именно этот день из жизни Испанской республики, ушедшей в далекое прошлое, и не имеющей к моей жизни никакого отношения?

Я стал вспоминать. И вспомнил. Мой двоюродный дядя Костя! Ведь он-то как раз и был волонтером на испанской войне. Дядя Костя занимался еще в тридцатых годах в аэроклубе, летал на «кукурузниках», прыгал с парашютом, имел кучу спортивных разрядов, а в тридцать седьмом году неожиданно исчез. И все его родственники решили, что он арестован. Хотя никто не понимал за что. А потом выяснилось, что он сражался в небе Испании. Объявился он в Москве только осенью сорок первого, в летной форме с лейтенантскими кубарями, забежал на пару часов к маме и тетке Рите, коротко поведал о своей испанской одиссее и улетел в Куйбышев на переформирование. Так он сказал. А потом были лаконичные письма с фронта родителям (моя бабка хранила его письма в ящике стола вместе с другими письмами наших семейных фронтовиков). А увиделись они уже в сорок шестом, когда дядя Костя поступал в МАИ. Я на протяжении всего нашего с ним знакомства неоднократно пытался выяснить, что же там произошло, в этой Испании и почему Республика погибла, ведь ей же весь мир помогал! Но Константин Аркадьич отвечал неохотно или же переводил разговор на другие темы, как будто воспоминания эти были ему неприятны. И лишь однажды, на праздновании тридцатилетия Победы, уже пожилой и облысевший дядя Костя, размякнув от выпитой водки и громогласных тостов в честь победителей, вдруг обратился ко мне:

– Вот ты все про Испанскую войну спрашивал. Почему не победили тогда... Знаешь, там был страшный бардак. Особенно в конце. Ни единого командования. Ни дисциплины. Коммунисты воевали сами по себе. Анархисты и сторонники Троцкого, «поумовцы», сами по себе. Республиканские генералы не хотели снабжать боеприпасами интербригады. А правительство состояло из разных партий. Единства не было. А без единства какая же война? Ну, мы, военные советники, помогали коммунистам. А когда стало ясно, что дело швах, то руководство компартии Испании сбежало в Москву. Ну а нас бросили на произвол судьбы. Пришлось самим выбираться. Едва ноги унесли. А когда вернулись в Союз, так нас еще и арестовали. Проверки устраивали, может, мы завербованные шпионы...

– И тебя проверяли?

– Да... проверяли... В Печлаге, – горько усмехнулся дядя Костя.

И больше я ничего не смог из него выжать.

Но, тем не менее, в 41-м Константин Аркадьич оказался в армии и пролетал на штурмовиках до конца войны. И потом, уже демобилизовавшись, он никогда не ворчал на советскую власть, проработал всю жизнь в авиационном КБ, ходил в «ударниках коммунистического труда», но в партию так и не вступил.

И я часто задаю себе вопрос:

„А те, кого я знаю в этой жизни, все эти милые и вполне порядочные люди моего возраста, смогли бы они вот так же легко пойти на смерть, как поколение дяди Кости, тети Риты, моих родителей? За утопические, несбыточные идеалы? И за какую великую идею пошли бы они отдавать сегодня свои жизни?“».

## Глава пятая Лето 2006 года Поездка на север (один день Второй ливанской войны)

Начало Второй ливанской войны господин Н. прозевал. Вернулся, как всегда, с ночного дежурства рано утром, когда за окнами разгорался новый день. Глаза резало от недосыпа, хотелось поскорее упасть на диван, расслабиться, уплыть в спасительный сон. Валентина поставила перед ним тарелку с варениками.

– Поешь, пожалуйста...

Включила телевизор. Перед работой всегда смотрела новости по Девятому каналу<sup>29</sup>. И вот тут началось...

Перед сонными глазами господина Н. по экрану побежали куда-то солдаты в зеленой форме и головных уборах, похожих на шляпки каких-то гигантских грибов. Только потом господин Н. сообразил, что это каски с защитными чехлами. А зеленые «грибы» все бежали куда-то, так обреченно бежали... Потом в том же направлении поехал танк, смяв проволоочное заграждение... Догорающие остатки армейского джипа... И голос комментатора:

– ...боевики «Хизбаллы» вторглись на территорию Израиля... погибло восемь солдат пограничной охраны... По данным разведки двое солдат уведено в плен... вблизи кибуца... солдаты Армии обороны Израиля ведут бой...

Валентина как-то, очень по-бабьи, ойкнула и взволнованно зачастила:

– Что ж это творится, Сень... житья от них нет... когда же это кончится... ребята гибнут, неужели ничего нельзя сделать с этим... – на что господин Н., которому за пятнадцать лет жизни в Израиле изрядно надоела кровавая тягомотина «мирного процесса»<sup>30</sup>, вся эта непонятная нормальному человеку грязная игра в «казаки-разбойники», только махнул рукой:

– Успокойся, – буркнул он, – никогда это не кончится. Мы, евреи, вечно ищем приключений на свою ж...!

– А если война, Сень? Ведь солдат похитили...

Семен понимал: Валина дочка, Ленка, служит как раз на севере, где-то в районе Хайфы, и Валя боится за нее.

– Ничего не будет, – успокоил он Валентину. – Сначала пошумят, пригрозят, обратятся к мировому сообществу. А затем договорятся, как всегда. Обменяют двух солдат на четыреста бандитов и успокоятся. До следующего раза. Миротворцы хреновы... Ладно, Валь. Я устал. Пойду, посплю.

Ему, вымотанному еженощными дежурствами, не хотелось напрягаться из-за очередного балагана где-то на северной границе. Пусть волнуются те, кому это по штату положено. Им за волнение ба-а-льшие деньги платят. А ему, труженику охранной фирмы, нужен хороший сон после миски домашних вареников.

Он и провалился в вожденный спасительный сон. Снилось ему серая пыльная проселочная дорога, где-то в глубине России. Раннее утро... Идет он упругим легким шагом, как когда-то, в молодости, и пыль, прибитая утренней росой, чуть пружинит под ногами. Вокруг сизый туман стелется полями и прохладная тишина, нарушаемая лишь тоскливым кри-

---

<sup>29</sup> 9-й канал – «русский» канал израильского ТВ

<sup>30</sup> В 94-м году, после подписания договора между И. Рабиным и Я. Арафатом, Арафат и его бандиты, прибывшие в Газу по приглашению правительства Рабина Переса, развязали террористическую войну против Израиля, нарушив все мирные договоры.

ком одинокого дергача. И на душе хорошо и спокойно. Но какой-то тревожный сверчок выдернул его на поверхность из тихого омута сна.

Он открыл глаза. В квартире стояла тишина (Валентина уже ушла на работу), но в этой оглушающей тишине было что-то неправильное. Встал с влажной, жаркой простыни, прошлепал в салон. В открытые окна лезла угнетающая тропическая духота. Господин Н. плотно задвинул тяжелые стекла в салоне и включил кондиционер. Глухая тишина давила на уши, и он включил телеящик. И... тут же обрушился на него грохот вертолетных винтов. Промелькнула панорама какого-то куска территории, вероятно, все та же северная граница Израиля. Обгорелый остов сожженной машины... стволы самоходных орудий, бьющих куда-то в пространство... кадры бегущих солдат в касках-грибах... и истошный голос тележурналиста, кричащий о начале военной операции Израиля против «Хизбаллы».

– Черт бы вас всех побрал! – выругался господин Н. – Покоя людям нет...

Но кого он в данный момент ругал, самому было не очень ясно: то ли разбойников из «Хизбаллы», похитивших солдат, то ли ливанское правительство, пригrevшее эту самую «Хизбалу», то ли собственных премьера и министра обороны, вдруг решивших поиграть в очередные «гроздь гнева».

Что до господина Н., то он давно уже отпереживался на местные политические темы.

После того как в девяносто четвертом стали рваться автобусы в центре страны, он, вместе с другими искренними патриотами, недоумевающими, растерянными, возмущенными, ходил на демонстрации, кричал лозунги на русском и иврите, размахивал бело-голубым флагом. Надеялся, что вот так, всем вместе, удастся остановить безумный проект «архитекторов нового Ближнего Востока»... Его надежды разом оборвались во время одной из демонстраций протеста, когда лошадь конного полицейского сбила господина Н. наземь, и толстый мордovorот в блестящей каске огрел его дубинкой по спине.

«Совсем, как в Москве, в восемьдесят восьмом, – подумал господин Н. – На неформальном митинге в защиту демократии...»

С того случая господин Н. решил не играть в местные политические игры.

А на увещевания одного из активистов движения «Моледет»<sup>31</sup> только усмехнулся, бросив в лицо бородатому интеллектуалу из Питера:

– Оставь! Там нас били за демократию, здесь за «сионистские ценности». Если уж эти хваленые гордые «сабры»<sup>32</sup> занимаются самоедством и самоубийством, то что ты, «оле хадаш»<sup>33</sup>, надеешься здесь изменить?

– Это наша страна! Наша! – патетически воскликнул, тряся чеховской бородкой «питерский». – Кто основал здесь первые кибуцы? Кто были Жаботинский, Бен-Гурион, Голда Меир? Поэтому мы, «русские», имеем право...

– Залупу конскую мы имеем! – отрезал господин Н. – Полицейские п...дюлины мы имеем. Хватит! С меня довольно.

С тех пор господин Н. махнул рукой на весь местный политический бардак, зарабатывал деньги охранником, устраивал личную жизнь...

В последнее время он жил тихо со своей Валентиной, работал ночами, днем отсыпался, посматривал телевизор, почитывал газеты, отмечал дни рождения и праздники, среди коих христианский Новый год вполне уживался с еврейскими Песахом и Рош-ха-шана.<sup>34</sup> Он смирился с судьбой незаметного, сокровенного человека, над образом коего раньше посмеивался, читая когда-то, в далекой Москве, Андрея Платонова. Он доживал остаток жизни, вполне осо-

<sup>31</sup> «Моледет» («Отчизна») – национ. – патриотич. движение в 90-х годах в Израиле.

<sup>32</sup> сабры – коренное население страны

<sup>33</sup> оле хадаш – новый репатриант (ивр.)

<sup>34</sup> Песах, Рош-ха-Шана – религ. праздники, е. Пасха и Новый год.

знав, что ничего путного и яркого не сумел в ней совершить, несмотря на бурную московскую молодость и разнообразные свои способности.

«Будем довольствоваться малым, – утешал себя господин Н. – Не всем же быть Щаранскими или, к примеру, Абрамовичами. Скажи спасибо, что доживаешь свой жизненный цикл в нормальной квартире, рядом с теплым, родным человеком, а не в одиночку, на скамейке бульвара Ротшильд. Да и работа, какая-никакая, а есть. Разве этого мало?».

И вот теперь... Новая напасть: внезапная война. На экране гремели вертолетные винты, бухали пушки, истерически кричали военные корреспонденты, громогласно вещали политики. Грозил пухлым пальчиком Хасан Насралла, чеканил крутые ковбойские фразы Буш, кукарекал петухом усатый министр обороны, пророча полную победу израильской армии. По российским телеканалам показывали один и тот же разрушенный дом в Бейруте, и мрачный голос диктора вещал что-то о «жестоких бомбардировках израильской авиации». Что до господина Н., то он так же ездил на работу, возвращался уставший, успокаивал Валечку, (ее Ленка звонила из воинской части каждый день, говорила об обстрелах Хайфы, о панике среди населения), потом проваливался в тягучий, липкий дневной сон.

Так прошло две недели. В центре страны жизнь продолжала катиться своей рутинной чередой: люди спорили с продавцами на рынках, ругались друг с другом на автостоянках, отдыхали от дневной жары на пляжах и в кафе. А между тем на Севере происходило что-то непонятное. Победный тон тележурналистов сменился растерянностью. Израильский спецназ в Ливане увязал в затяжных боях, разбились два вертолета, «Хизбалла» подбила израильский ракетный катер, стали взрываться неуязвимые прежде танки «Меркава», и экран запестрел фотографиями убитых мальчиков. Но самое неприятное – обстрелы северных городов усиливались, несмотря на бодрячество репортеров ТВ. Сквозь фальшивый тон телекрикунов проступала отчетливая тревога и какая-то детская беспомощность. И в душу господина Н., под действием телетрескотни и Валюхиных причитаний, стал вползать некий сырой скверный туман. Вот эта сырость, сквернота, оседавшая где-то в области сердца, беспокоила, тревожила. Что-то было не так...

А потом раздался телефонный звонок. Звонил Петя Деревянко из Кирьят-Шмоны. Когда-то, еще в девяносто первом, учились вместе с ним и его Софой в кибуц-ульпане. Подружились. Господин Н. как раз после приезда в Израиль разругался со своей последней пассией, Мариной, вернее, она с ним разругалась. А разругавшись, разделила их общий счет и уехала в Тель-Авив. За радостью. Так она выразилась.

– Ты мне надоел, Дрейзин! Я приехала сюда за радостью. Хочу хорошей жизни, понял? А ты с твоей унылой рожей мне надоел. И запомни, ты здесь ничего не добьешься! Здесь надо быть волком. А ты всего лишь баран. Вот и оставайся в твоём кибуце!

Господин Н. не стал спорить, а тем более разыгрывать из себя покорного мужа из серии «вернись-я-всепрошу». Хотя именно из-за этой нахальной скороспелки он оставил в России жену и двоих детей, да, и что греха таить, и в Израиль-то приехал, потому что Марина за все время их совместной жизни постоянно ныла:

– Уедем в Израиль, уедем в Израиль... В Израиле будет другая жизнь...

Вот и уехали. Поселили их в кибуце, у самой северной границы, но, как только отучились в ульпане, Марина познакомилась с местным темноглазым красавцем, хозяином пекарни, и умотала с ним в Тель-Авив, где у Ави (так звали красавца) был также свой «эсек»<sup>35</sup> – магазинчик и кафе. А господин Н. продолжал трудиться на кибуцной фабрике, вечерами просиживал в гостях у четы Деревянко. Пили чай с вареньем, поругивали кибуцные порядки... Надя, милая темноглазая Петина жена, жалела господина Н.

---

<sup>35</sup> эсек – бизнес, дело (иврит)

– Ой, Сень, как же ты теперь, один, ни родителей у тебя, ни родни. И дети в Москве остались.

Жалела миловидная, фигуристая и глазастая Надя господина Н. И на фабрике, во время работы (а ее рабочее место находилось как раз напротив), очень выразительно на него поглядывала. А однажды, улучшив момент, когда остались они в комнатке для перекуров одни, проходя мимо со стаканом кофе, довольно откровенно прижалась грудью и тихо выдохнула:

– Ну, долго еще будешь меня мурыжить? Мы ж не дети, Сень. От Петьки моего толку никакого, все мысли у него лишь о хозяйстве, ему бы домик свой! А я еще молодая, тридцать пять, я мужика хочу, чтоб промял ночью, как следует... А то раз в две недели залезет, подергается минуточку-две и хорош! Разве ж это жизнь?

Господин Н., обалдев от Надькиного нахальства, поинтересовался, как же это возможно, на глазах у мужа и сына (Давидику тогда исполнилось уже 9 лет), да и всего кибуца, иметь любовника? На что Надя заржала:

– Эх, Сень, ну и наивный же ты! Здесь, на фабрике, место есть шикарное. Подсобка! Наверху, где кабинеты начальства. Там та-акой диванчик удобный! А ключик мне Шошка дала, знаешь, такая черненькая, с сексуальной попкой? Завкухней? Она и сама пользуется, когда ее Моше в «милуим»<sup>36</sup> уходит. Да и твоя крыса, Маринка, с этим Ави туда бегала, когда ты уезжал работу искать. А ты и не знал!

Не воспользовался господин Н. таким заманчивым «золотым» ключиком Надежды, что-то ему тогда не позволило. Как бы он потом мог смотреть в добрые, небесной голубизны, хохляцкие глаза Пети, отвечать на его прямое, сильное рукопожатие, сидеть за одним столом в их уютном кибуцном домике?

Ушел он из кибуца, уехал в центр страны искать счастья. Уехал, несмотря на уговоры заводского начальства: ценили господина Н. за аккуратность в любой работе и спокойный характер. Перебрался в центр, работал в каких-то жутких, грязных мастерских, снимал убогие тесные углы в районе улицы Хар-Цион, пока, вдоволь намаявшись на черных работах, не нашел приличную охранную фирму, прошел спецкурс подготовки охранников, получил хорошее место и снял квартиру в приличном районе. С Петей и Надей иногда перезванивался, правда, редко, жизнь брала свое. Из звонков узнавал, что они ушли из кибуца, купили домик в поселении на севере, Петя завел-таки хозяйство, стал фермером, потом у них родилась дочка, и были они, по-видимому, вполне счастливы. По телефону постоянно звали господина Н. навестить их счастливое семейство, но как-то все не складывалось со временем. Далековато все же до Кирьят-Шмоны. Да и созерцание чьей-то успешной жизни не радовало господина Н., разучился он в Израиле радоваться чужой удаче.

И вот этот звонок. Сначала он даже не узнал Петин голос. Какой-то хриплый каркающий клекот вместо спокойного, с неистребимыми «хэ» и «шо» Петиного баритона.

– Слухай, Сэмэн! Прошу... Как друга! Помоги нам! У нас черт-те шо творится!

– Что? Что случилось, Петька?

– Та, хай його грець! Обстреливают нас! Слышишь? Головы не можно поднять! «Катюши» эти... Шестерых вбыло! Раненые есть... Я прошу, если можешь... Приюти моих, Надьку с Рахилькой!

– Рахилькой? Кто это?

– Та доча моя, я ж тоби говорил! Здесь родилась... Прими их, а? Начальство наше грэбаное, мэр со своими холопами, сбэгло невесту куда! Город вымэр! Которые с деньгой, уже уतिकлы! Бросили нас тут, как шматок кишки...

И перекрывший Петькин голос, резкий, с какими-то незнакомыми визгливыми нотками, голос Нади:

---

<sup>36</sup> резервистские сборы (ивр.)



– Сенечка! Если можешь нас принять... Девочка моя так боится! Говорит мне: «Мамочка, я еще очень молода, чтобы умереть!». Слышишь? Жить стало не-воз-мож-но! Магазины закрыты! Сидим в убежище, как крысы! Сень, уговори моего м. дака, пусть бросит все и едет с нами! Да замолчи, ирод! Заел мою жизнь!..

Последнее восклицание явно относилось к Петру, тот еще что-то гундел, но было плохо слышно. Господин Н., конечно, согласился принять старых приятелей, все же беда-то какая, ежедневные обстрелы. Да и голоса у них были совершенно незнакомые, истерично-визгливые. Квартирка у господина Н. была для гостей маловата: салон, спальня, да ванна с кухней, но в такой ситуации можно и потесниться. Валентине господин Н. ничего пока не стал говорить, незачем было раньше времени, да и знал он, что Валя не рассердится...

Он решил ехать на Север утром в воскресенье, сразу после ночной смены, не заезжая домой. Дорога до Кирьят-Шмоны, если ехать автобусом, занимает три с половиной часа, да и там еще неизвестно, как все обернется. Утром по радио передали, что «Галилейский выступ» обстреливают уже серьезно, и город опустел. Господин Н. связался по мобильнику с Петром, но ответила Надя, вопила совершенно истерически. Ракета попала прямо в их двор, убило нескольких кур, собаку Ицика, но, самое главное, искалечило взрывом «джип», и теперь они не могут выехать.

– А на автобусе нельзя? – удивился господин Н., но тут же получил в ухо новый залп Надиной истерики.

– Ты что, дурак, вы там в центре совсем ни хера не знаете, у нас автобусы не ходят уже неделю!

Что ж, надо было добираться, но как? «А может, автобусы все же ходят?»

На Центральной автобусной станции было довольнолюдно, несмотря на ранний час. Бросалось в глаза большое количество солдат разных частей, многие тащили «на горбу» бронежилеты и, без обычных для солдат смеха и шуточек, молча втягивались на эскалаторы, к автобусам, идущим на Север. Господин Н. обратился к окошку с надписью «Информация» с вопросом: есть ли автобус на Кирьят-Шмону, но неожиданно ответил ему солдат «Голани», шествующий мимо долговязым верблюдом, нагруженным боевой амуницией:

– Иди за мной... Седьмой этаж. 845-й номер.

Он загрузился в рейсовый «Икарус» вместе с резервистами боевых частей, снова отметил их, странную для израильских солдат, молчаливую сосредоточенность. Обратил внимание на эмблемы частей. В основном – «Голани», «Гивати», танкисты... Красные береты. Несколько девочек с медицинскими эмблемами.

«Совсем еще девчонки, – подумал он. – Но разве моя мать или тетка Рита были старше в сорок втором, когда пошли на фронт?»

Дорогой господин Н. уходил в дремоту, сказывалось бессонное дежурство, да и убаюкивало жужжание солдатских голосов. А потом сон прервался, и он очнулся от оглушающей тишины. Солдаты в автобусе молчали. И от этого дружного молчания господину Н. стало не по себе. Он увидел пустое мертвое шоссе, полусожженные сады, тянущиеся вдоль дороги. Слева проплыла угрюмая, поросшая лесом, гора Тавор, вся в рыжих подпалинах сгоревших лесов. А вскоре на встречной полосе показался армейский тягач. На платформе стоял обгоревший танк с поникшей, как хобот усталого слона, пушкой. Затем еще один... Еще... Тягачи с обгорелыми танками и БМП проплывали мимо... назад... в тыл.

– Вы тоже в Кирьят-Шмону едете? – господин Н. повернул голову и обнаружил в соседнем кресле довольно пожилую тетку вполне сельского вида, обратившуюся по-русски явно к нему.

– Да... вот, еду... Друзья у меня там застряли. Надо вывезти...

– Да, конечно... Правильно вы это... И я вот, тоже... – женщина явно обрадовалась, что можно поговорить. – Еду к своим. Хочу мужа и сына вытащить. Не хотят уезжать. Я говорю,

идiotы, жизнь дороже! Вот я у дочки погостила в Бат-Яме неделю, так от тишины оглохла. А у нас, что ни день, грохот такой – сил нет! Ракеты падают, пушки стреляют. А муж мой не хочет. Дом купили, взяли ссуду в банке. И Андрюшка, сын, гундит: «Не могу, мама... перед друзьями стыдно».

Голос женщины уплывал куда-то, проваливался в дурман тяжелого, дорожного сна... Резкий рывок автобуса встряхнул его, господин Н. дернулся, озираясь, и насмешливый голос женщины произнес над ухом:

– Подъезжаем! Ты, милый, чухайся живее, в войну приехал!

Автобус рывками, взрывая, въезжал в город. Вернее, в то, что от него осталось. Господин Н. помнил уютный городок из желто-белого камня, россыпи ярких цветов на клумбах, пирамидальную зелень кипарисов... Ничего этого больше не было. А были клубы черного дыма над сгоревшей фабрикой, разбитые стены опустевших домов, зияющий провалами выбитых витрин торговый центр и серая пыль, висящая в воздухе.

– Где твои друзья-то живут? – спросила женщина. – В городе или в кибуце?

– В поселке Бейт-Гилель.

– Тогда тебе надо такси взять. Местные автобусы не ходят. Если, конечно, такси работает. За сто пятьдесят шекелей, пожалуй, довезет... – и, увидев изумленное лицо г-на Н., добавила. – А что ж ты хочешь? Под огнем кому захочется? Это ж риск. А знаешь што? Лучше, позвони, когда приедем, по этому номеру, – она, проворно достав из сумочки ручку, нацарапала на листике, вырванном из блокнота, телефон. – Это наш Центр помощи. Там есть такая Аня Верник. Дежурит в бомбоубежище при местном Доме культуры. Позвони, как приедешь. Она поможет.

И когда автобус уже заворачивал к автобусной станции, добавила с тревогой в голосе:

– Запомни... у нас тут пушки стреляют... на окраине города... И «катюши» падают. Так вот. Если сначала по ушам ударит, а потом эхо пойдет по горам – это наша батарея. А если вначале шелест такой в воздухе, а потом грохот, то чужая ракета упала. Так ты грохота-то не бойся, ты шелест слушай. Понял? Как услышишь, – падай, где стоишь! Ну, счастливо тебе!

Автобус резко остановился. Солдаты с шумом и грохотом посыпались наружу, женщина как-то сразу исчезла, пропала в водовороте зеленых солдатских спин, вещмешков и оружия, господин Н. вылез наружу, стряхивая остатки дорожного сна, и огляделся. Горный массив, усыпанный белыми домиками, резко поднимался к самому небу, за спиной – автобусная станция, непривычно пустая в этот час, а за ней плавно стекающий вниз, в долину, город Кирьят-Шмона, первый приют г-на Н. в Израиле. Прямо перед ним была стоянка такси. Одинокое такси желтого цвета скучало возле пустой будки, и тут же, на скамейке, меланхолично покуривал водитель, толстый пожилой «марокканец» в привычной местной «униформе» – в трусах и в тапочках на босу ногу. Напротив, через дорогу, на веранде маленького кафе, двое в таких же «семейных» трусах и тапочках задумчиво играли в нарды. Этакая утренняя идиллия в маленьком южном городке.

Но в следующее мгновение все это резко прекратилось. «Бабанг! Ба-банг! У-у-у!» – ударило по ушам с неба, и господин Н. внезапно обнаружил себя сидящим на корточках возле низкого каменного бордюра.

На войне люди учатся реагировать быстро. «Ба-банг! Бабанг!» – ревели со всех сторон. Смуглый «марокканец» на скамье продолжал курить трубочку, насмешливо поглядывая на г-на Н.

«А-а... Так это же наша батарея, – вспомнил он слова женщины. – Чего же я так?..» Он резво вскочил, устыдившись слабости, и тут услышал характерный шелестящий звук, перешедший в тонкий змеинный свист, и вот уже за автобусной станцией, за грядой плотно прижавшихся друг к другу домиков нижнего города, один за другим встали пять черных разрывов, пять черных столбов дыма. Полетели в воздух обломки камня, что-то завизжало совсем близко,

«марокканца» в трусах смыло со скамьи, желтое такси взвыло и быстро умчалось. В клубах пыли прогрохотал военный грузовик, набитый солдатами, а господин Н., мгновенно оказавшийся один посреди опустевшего, изувеченного снарядами пространства, стал судорожно набирать номер телефона, оставленного ему сердобольной женщиной.

Аня Верник из местного Центра помощи ответила ему сразу.

– Ты на машине? – спросила так, как будто знала его всю жизнь. (Дальнейший их диалог напоминал телеграмму).

– Нет, я на автобусе приехал.

– Какие у тебя проблемы?

– Хочу вывезти семью друга. У них машину разбило. Взрывом.

– Где он живет?

– Мошав<sup>37</sup> Бейт – Гилель.

– Где ты находишься?

– Рядом с автостанцией. На остановке такси.

– Вот там и стой. Я сейчас подъеду.

Серая «субару» подкатила к остановке такси минут через пять, и неожиданно яркая, вызывающе одетая женщина, распахнула дверцу.

– Залезай быстро! Сейчас начнется!

Господин Н. втиснулся на сиденье, не спрашивая, что именно начнется, и машина рванула с места, как на гонках. Господин Н. лишь удивился про себя праздничной внешности женщины, ее косметике, провокативной одежде, тонкому аромату духов, веселой зелени ее красивых глаз, ибо все это так не вязалось с запахом гари и беды, пропитавшим фронтовой город.

– Вы Анна Верник?

– Да-а... а что, не похожа?

– Н-нет, просто у вас такой вид...

– Скучать некогда! Много дел! Я вас завезу сначала в Центральное убежище, у нас там штаб. Я постоянно на телефоне. Мы как раз сегодня занимаемся эвакуацией, так что вы нам как бы помогаете. Правительство и местная ирия<sup>38</sup> нас бросили. Вот и крутимся сами. У нас около двух тысяч стариков в городе. В основном «русские», на иврите не говорят! Их надо едой обеспечить, лекарствами, врача вызвать. Вчера договорились эвакуировать тридцать семей в гостиницы Эйлата... Черт! Опять началось!

Господин Н. услышал истошный вой сирены над городом и через секунду взрывы. Один... Другой... Третий... Анна погнала машину еще резвее, та яростно закрутилась в узких улочках и так же внезапно остановилась рядом с белым, в восточном стиле, легким зданием с тенистым двориком и фонтаном. Фонтан не работал.

– Ну, вот, приехали. Это наш «матнас»<sup>39</sup>. Только быстро! А то попадем под «катюшу»...

Господин Н. выскочил из машины следом за Анной, и тут же потрянуло землю под ногами. Взрыв ударил совсем рядом, за стенами соседних домов, оба прижались к колонне, господин Н. услышал странное веселое чириканье, как будто стайка воробьев пролетела.

Не двигайся! – услышал за спиной голос Анны. – Это шрапнель.

Металлические шарики запрыгали по камням, отскакивали от стен домов.

«Вот она, „начинка“ боеголовок, – подумал господин Н. – Ловко придумано».

Хотя придумано это было уже давно, еще в Первую мировую или раньше, но размышлять было некогда. Анна дернула господина Н. за руку и резво побежала по ступенькам куда-то вниз

---

<sup>37</sup> *мошав* – с-хоз. поселение (ивр.)

<sup>38</sup> *ирия* – мэрия (ивр.)

<sup>39</sup> *матнас* – дом культуры (ивр.)

и за угол. Следующий взрыв догнал их, когда они влетели в бомбоубежище, и рослый смуглый парень в защитной форме резервиста захлопнул за ними тяжелую стальную дверь.

И все последующее время, проведенное господином Н. в Центральном убежище и городе Кирьят-Шмона, потом, по прошествии времени, стало казаться ему кошмарным сном в сумасшедшем доме. Мимо него по убежищу сновали люди в зеленой форме – волонтеры и просто жители брошенного на произвол города, объединенные простым желанием выжить, не свихнуться в этом кошмаре. Какие-то женщины, «русские» и «сабры», кричали что-то по телефонам, кто-то рыдал, кто-то срочно просил помощи... Ввалились трое мужиков в комбинезонах и резиновой обуви, и один из них, по виду старший, перекрыв общий шум, громко спрашивал у Анны, в каком бомбоубежище прорвало канализацию.

– Нам же звонили от вас! – гремел он. – Говорят, говно так и поперло!

По телеящику передали сообщение, что ракеты «Хизбаллы» попали в район дислокации батареи в поселке Кфар-Гилади, есть убитые и раненные.

– Это наша батарея! – кричал пожилой резервист. – Здесь, в полукилометре!

Потом Анна нашла г-на Н. и сказала, что сейчас его отвезут по адресу, но ребятам надо еще заехать в один квартал, развезти старикам порции горячей еды.

– Езжай с ним, – она кивнула в сторону шустрого парня в черном бронежилете. – Алекс знает дорогу.

– Давай, быстро! – Черный, как жук, Алекс схватил его за руку. – Врэмэни нэт!

И они, выбравшись наверх из Убежища, побежали к серебристой «мазде», где ждал их еще один волонтер, по виду совсем старик, загорелый (или кожа такая?), с подносом в руках.

– Где ты, Алекс? – заговорил он на иврите. – Скорее! У нас четверть часа до обстрела.

– До обстрела нэ успээм, – ответил Алекс. – Этого парня надо взять в мошав.

– Лех кибенамат!<sup>40</sup> – рявкнул сухой дед. – У него бронежилета нет, как он поедет? – но шустрый Алекс молча посмотрел на деда особым, «кавказским», взглядом, они загрузились в «мазду» и погнали по пыльным улочкам разбитого города.

А потом были воюющие над городом сирены, бешеная езда по узким переулкам, свист и разрывы ракет, судорожный бег с горячим подносом по ступеням чудом уцелевшего дома... И старик в таком старомодном, из прежней жизни, синем в полоску костюме с орденскими планками («Я, сынок, на Ленинградском фронте воевал, блокаду выдержал, ничего, там страшнее было...»), принимал горячие порции и нарезанный хлеб дрожащими руками, и старуха с бледно-синими губами тянулась с кровати к горячей еде и скрипела что-то невнятное... И снова бег под взрывами к спасительной машине и веселое чириканье «птичек» за спиной, и бешеная ругань старика-«марокканца», и снова пыльная дорога, изрытая воронками («Черт! Совсем, как в кино!»)...

Петину долговязую фигуру он увидел издали, на повороте в мошав, (позвонил с дороги, чтобы встретил), и подумал, как же Петька похудел, куда ж его «украинское сало» подевалось?

Потом были быстрые, на ходу, объятия, сначала с Петькой («Боже мой, как же он похудел, ребра выпирают!»), потом с Надеждой. Господин Н. отметил про себя, что ничего не осталось от прежней резвой фигуристой милашечки Нади. Перед ним суежилась, собирая в дорогу какие-то вещи, растрепанная погрузневшая баба, визгливо огрызавшаяся на мужа. За поваленным взрывом забором виднелись обгорелые фруктовые деревья и искореженный японский джип. Молчаливый рыжий голенастый подросток сидел, сжавшись, на стареньком пыльном диване в углу.

– Рахелька! Собирай вещи! Быстро! Мы сейчас едем... – Надя суежилась испуганной курицей, бросала какие-то тряпки в распахнутый чемодан.

---

<sup>40</sup> лех кибенамат – искаженное русск. ругательство

– Дывысь, Сэмэн, шо твориться, – Петя ходил по дому, беспомощно разводя руками-плетями. – Старался, вот, яблоньки сажал... Курей купили, индюшек... И урожай в этом ходу наикраший був... Эх!

– Оставь, дурак! – кричала Надя. – Едем живо! Себя не жалеешь – нас с Рахелью пожалей! Хрен с ним, с хозяйством! – но Петя только отмахивался.

А потом снова вздрогнула земля, совсем близко, и все инстинктивно упали на пол, кроме рыжей Рахельки, безучастно сжавшейся в комок на краю дивана. В проем распахнутой двери всунулся «кавказец» Алекс, заторопил хозяев:

– Нэ можем ждаты, дарагой. Нам еще еду развазит, старики галодные сидят!

Они выскочили наружу, лихорадочно закидывая чемоданы и сумки в багажник «мазды». Растрепанная Надя что-то еще кричала Петру, а он, вяло отмахнувшись тощей рукой, бережно усадил рыжую Рахельку в машину и кивнул господину Н., мол, езжайте, все готово.

И вдруг господин Н. среди всей этой кутерьмы вспомнил, что мучило его все это время:

– Петь, а где Давидик?

На что Петр, тяжело вздохнув, махнул своей тощей «граблей» в сторону ливанских гор:

– Давид наш там... Он же в «Голани», уже третий год. Потому и не могу я уехать... Ну, езжайтэ уж...

Господин Н. хлопнул Петра по мосластому плечу и втиснулся в душное пространство машины, потеснив объемистую Надю.

«Как она располнела все же за это время», – подумал он.

«Мазда» рванула с места, как бы торопясь поскорее убежать от обстрела, вывернувшись с проселочной дороги на шоссе. Господин Н. оглянулся и увидел длинную сутулую Петину фигуру. Он махал вслед машине своей тощей граблястой лапой.

«Совсем, как птица марабу», – подумал г-н Н., хотя и в глаза не видал этой экзотической птицы...

И снова они гнали по разбитому шоссе, огибая свежие дымящиеся воронки, и господин Н. видел горящие сады какого-то кибуца, и черные фонтаны взрывов перепаживали землю, и надсадно выли сирены...

Перевели дух уже в Центральном убежище, где было все так же шумно, сновали волонтеры, кто-то матерно ругал по телефону местного мэра, а заодно и правительство Израиля. Двое парней в черных бронежилетах раздавали горячую еду. Надя жадно накинулась на предложенную ей порцию, а рыжая голенастая девочка молча забилась в угол, и на настойчивые уговоры мамы «покушай, деточка», молча покачала головой.

– Это у нее шок, – Анна Верник снова возникла рядом. – Бывает, особенно у детей! Мы сегодня вывозим тридцать пять детей, и все в таком состоянии... А вы не волнуйтесь, в шесть вечера будет автобус. Я звонила в диспетчерскую. Я вас отвезу. В шесть часов обычно «эти» заканчивают обстрел.

К шести вечера действительно ракетный «дождь» прекратился, и Анна доставила их к автобусной станции. Господин Н. выгрузил багаж, помог выбраться заторможенной Рахельке, бросил растрепанной Наде:

– Не торчите здесь, пройдите внутрь станции, там стены защитят, если что... – и обернулся к Анне.

Надо же было поблагодарить ее за все. Посмотрел и снова удивился, какая она ухоженная и красивая среди всего этого бардака и кошмара. Только в глазах ее угнездилась смертная усталость.

– Да, вы не смотрите так! – рассмеялась Анна. – Мы здесь вовсе не герои. Просто кто-то же должен оставаться человеком, чтобы помочь... Ну, счастливо доехать! Ваш автобус будет через десять минут.

Господин Н. ощутил, как отпускает его напряжение, лишь когда автобус, забитый до отказа солдатами разных частей, вышедших из боев в Ливане, развернувшись возле Рош-Пины, вырвался на прямую трассу и покатил по направлению к Афуле. И возле Афулы, уже вне досягаемости ракетных снарядов, бледные, изглоданные ночными боями лица солдат спецназа стали оттаивать, зашелестели разговоры, раздался чей-то смех, шутки, водитель автобуса включил музыку... Надя тоже оживилась, расспрашивала господина Н. о его нынешней жизни, о работе, о Валентине. Господин Н. что-то отвечал машинально, в то же время с удивлением чувствуя, как оживает его организм, как вдруг задрожало правое колено, заныла шея, и голова налилась тупой тяжестью.

«Странное ощущение, – подумал он, – как будто вынули из морозильника, я оттаял и снова могу чувствовать... Ну, вот и окунулся в войну на старости лет...»

Уже в Тель-Авиве, когда автобус ехал по трассе Дерех-Намир, радио передало, что был ракетный обстрел Хайфы, и есть жертвы, но это показалось чем-то далеким, как будто Хайфа была на другом конце Земли. А люди на улицах вечернего Тель-Авива шли по своим делам, чему-то радовались, и горланили стайки молодежи, из открытых окон «легковушек» раздавалась веселая восточная музыка.

«Они совсем не чувствуют войну, – подумал господин Н. – Вот это и плохо. На Севере падают ракеты, гибнут люди, а здесь... Станный все же народ. Или пятьдесят лет постоянных войн приучили их к толстокожести?»

Окончательно господин Н. пришел в себя уже дома, когда распаковали узлы и чемоданы, Надя и Рахель, приняв горячий душ, чинно сидели на диване в махровых халатиках, и Валентина, энергичная, сияющая от того, что ее «мужичок» вернулся с Севера живой и невредимый, раскладывала по тарелкам тушеную картошку с мясом и разливала по чашкам круто заваренный чай с домашним абрикосовым вареньем. И очнувшись от постоянного страха рыжая девочка, этот затравленный зверек, вдруг жадно потянулась к горячей еде, виновато оглядываясь на мать, а Валентина накладывала в тарелку добавки со словами:

– Кушай, деточка, наголодалась, натерпелась страху-то, поди...

После ужина женщины смотрели телевизор. Надя совсем оклемалась и стрекотала с Валухой про какие-то свои бабские дела, а сомлевшую от пережитого Рахельку уложили спать в дальней от салона комнатке, на просторном диване. Господин Н. услышал, как перед сном она спросила Надю:

– Мам, а обстрелов не будет ночью?

– Нет, что ты, детка. Сюда ракеты не долетят.

– Значит и сирены не будет?

– Конечно, нет. Спи.

Уже за полночь, когда в квартире стало тихо, Валентина с Надей шептались о чем-то в спальне, наверное, обсуждали завтрашний день, а господин Н. все еще сидел в салоне, смотрел по 10 каналу ТВ документальные съемки боев на Севере. Налил себе коньяку, медленно выпивал, вспоминая этот долгий день. В соседней комнатке посапывала Рахелька.

«Плохо... Плохо, когда двенадцатилетний ребенок спрашивает мать перед сном, будет ли ночью обстрел, – мрачно думал господин Н. – В каком скверном мире мы живем, если дети боятся спать по ночам. Надо же, шестьдесят с лишним лет прошло со Второй мировой. И ничего не изменилось в этом поганом мире. Хорошо, что я их забрал оттуда. Поживут, оклемаются... Может, и Петька соберется, приедет...»

Прислушался. В квартире стояла тишина. Господин Н. вспомнил туманное утро, автобус, забитый солдатами, ехавшими умирать, и слова женщины-попутчицы:

– Я вот неделю пожила в Бат-Яме и от тишины оглохла.

«Действительно, – подумал он, – как здесь, у нас, тихо. Надолго ли?».

И уже, когда погружался в сон, возникла странная мысль:

«Хорошо все же было в каком-нибудь десятом веке. Никаких тебе ракет и снарядов... Сходились в чистом поле и рубились, кто кого одолеет. Сила, ловкость, умение. Вот это был честный бой. Хорошо тогда жилось на свете».

На календаре было 30-е июля. До конца неудачной войны с «Хизбаллой» оставалось еще две недели.

## Глава шестая

### Район «Флорентин» (Февраль 2003 г.) (из дневника господина Н.)

«...Я встречался с этой странной женщиной еще несколько раз. В очередную пятницу, как всегда, она пришла мыть лестницу. Я не заметил ее прихода. Заснул после ночного дежурства и двух стаканчиков неплохого греческого коньяка. Боже, чем я закусываю коньяк, пусть даже и греческий: соленые огурцы, помидоры, вареные яйца, селедка! Мои московские друзья, наверное, впали бы в тяжелый ступор, увидев этакое извращение. Но... увы, времена, нравы, условия существования... Короче, я забылся тяжелым утренним сном.

Во сне я очутился в экспедиции на берегу родного Черного моря и увидел знакомую панораму: выгоревшие на солнце палатки, болтающиеся на веревках женские трусики и лифчики, мужские, кое-как застиранные, шорты и майки, услышал треск сухих веток в костре и звон гитары, девичий смех и радостные вопли парней и понял – я на месте. В своем привычном мире запаха водорослей, гари полночных костров, свиста ветра в античных развалинах. В мире простых человеческих отношений, где ничего не надо никому объяснять.

И я радостно пошел навстречу своему, такому знакомому, миру. Но эти молодые девочки и ребята почему-то не приняли и меня. Они меня заметили, некоторые даже поздоровались. Но не приняли. Но... Я вдруг оказался чужим посреди этого, до скрипа в зубах родного мне мира.

Я пытался заговаривать с ними. Шутил с девочками. Хлопал парней по загорелым плечам. Но их взгляды скользили мимо меня. Я бродил вокруг палаток, спотыкаясь о колья, я слушал гитарный перезвон:

– Никогда вы не встречали в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах!

Этот мир мне больше не принадлежал. И вдруг! О радость! Я увидел деревянный столик, самодельный экспедиционный грубо сколоченный стол. И за ним на таких же, кое-как вкопанных в песок скамейках, знакомых мужиков. И они увидели меня.

– Ба-а, сколько лет, сколько зим! Какие люди без охраны!

Бородатые знакомые лица. Засученные рукава клетчатых «ковбоек». Старая, потертая, залатанная «джинса». Ветераны южных раскопов. Феликс, Боб Лурье, «Барон Жермон», Яков Максимыч... Черти драные!

– Ну, садись, рассказывай! Ты же, говорят, в Израиль подался.

– Ну, да. Подался.

– Ну и как там, в твоём Израиле?

– Ничего, только жарко...

– А ты там работал в археологии?

– Работал, только немного.

– А что ж так?

– Не нужен я там оказался...

– Да-а... а вот нам ты нужен, у нас тут без тебя, сам понимаешь...

– Ну, так я с радостью! Да хоть сегодня! А где Алик Шавырин?

– А ты не беспокойся, Алик скоро приедет. Как же без Алика? Посидим, выпьем, вспомним былое.

Они весело подмигивали мне, переглядывались. Но их лица... Лица их почему-то расплывались, меняли очертания. Или это было виновато полуденное марево?



И вдруг до меня медленно стало доходить. Стоп. Ведь Алик Шавырин, бессменный «босс» Анапской экспедиции, уже лет десять, как умер! Мне об этом в письме сообщил мой сын, работавший у Алика в конце 90-х. И потому Шавырин оказаться здесь никак не может. Да и эти... мои старые знакомцы, уже тогда, в 80-х, были моими ровесниками, а кое-кто и гораздо старше. И если мне почти шестьдесят, то им уже хорошо к семидесяти. И так молодо выглядеть они никак не могут! Да и живы ли они вообще? И словно отвечая на мой вопрос, они как-то сразу стали меняться, усыхать, их лица стали проваливаться куда-то, скалясь беззубыми ртами, темнея опустелыми глазницами...

А вокруг продолжали звенеть гитары, и некто чернобородый пел густым баритоном:

– Ми-и-и – лая моя, солнышко-о лесное-е, Где-е, в каких краях встре-е-е-тимся с тобою-ю...

Я проснулся и резко вскочил, выныривая из сонного кошмара. И долго сидел, тупо глядя в стену. В горле застрял противный острый комок, который надо было немедленно проглотить. И тут я услышал знакомое шарканье мокрой тряпки на лестнице и восточный напев. Это она, таинственная мойщица наших лестниц, женщина с морщинами на смуглом лице и бесстыжими молодыми глазами блудницы. Я выглянул за дверь, и она радостно поздоровалась со мной, как будто мы не виделись целую вечность. Так умеют здороваться только сефарды<sup>41</sup>:

– Мотек шели!<sup>42</sup> Как дела? Давно я тебя не видела! Где ты ходишь? Работаешь? Нельзя все время работать! Бог велел нам отдыхать на седьмой день! А где твоя женщина? У тебя нет женщины? Как это может быть? Ты же не «гомо»? Ха-ха-ха! Ну, вот! В Торе сказано: «Нельзя человеку быть одному».

Она осыпала меня словами, одновременно ловко орудуя шваброй и сверкая улыбкой в полумраке коридора, возвращая меня к жизни сейчас, сегодня, в этом времени, в этой стране.

И уже спускаясь по ступеням вниз, к входной двери, шаркая мокрой тряпкой возле дверей чужих квартир, она продолжала говорить, как бы сама с собой, но обращаясь, конечно, ко мне:

– Нет, дорогой мой. Нельзя все время жить прошлым. Вот моя мать... она тоже все время вспоминала свой Йемен... А что там было хорошего в том Йемене? Жара, безводица, голод... И вечный страх перед дикими бедуинами, которые могли сделать с нами, евреями, все, что угодно... А мама вспоминала свою свадьбу и ворчала, что кофе в Израиле не такой, как в Йемене... А пока она вспоминала и ворчала, папа ушел к другой женщине, уехал в Тель-Авив, а мама осталась с нами, шестью детьми в Иерухаме. Она так и не научилась читать и писать, и нас ничему не смогла научить. Вот и моя жизнь не сложилась... А ты не думай, не вспоминай. Что толку вспоминать и жалеть о прошлом? Живи сейчас и радуйся тому, что Господь подарил тебе этот мир...

Она спускалась вниз, и голос ее, такой звонкий вначале, затихал где-то внизу вместе с шарканьем швабры и плеском воды в ведре. Я хотел побежать за ней, остановить, заглянуть в ее мудрые глаза, так таинственно сверкавшие в полумраке коридора... Но, сбежав вниз по лестнице, я увидел лишь пустое ведро и швабру, прислоненную к стене. И влажные, быстро высыхающие ступени лестницы».

---

<sup>41</sup> *сефарды – евреи восточного происхождения (Сев. Африка, Ирак, Иран, Йемен), сильно отличаются и внешне, и своими обычаями от европейских евреев-ашкеназов.*

<sup>42</sup> *мотек шели – мой дорогой, частое обращение у сефардов к друзьям или родственникам муж. пола (ивр.)*

## Глава седьмая

### Этот последний День победы

#### (воспоминание странного человека в ночь на 9-е мая)

*...Вспомните, ребята,  
Вспомните, ребята, –  
Это только мы видали с вами,  
Как они шагали  
От военкомата  
С бритыми навечно головами...*

*Д.м. Сухарев*

Ему снился странный сон. Будто сидит он за праздничным столом вместе с мамой, отцом и многочисленными родственниками, и все такие молодые, веселые и красивые, и почему-то в военной форме, с орденами и медалями.

«А-а, сегодня же День Победы, праздник...» – вспоминает он и тут же удивляется, почему его родители, а также дядя и тетки, все еще такие молодые и в старой форме времен прошедшей войны?

Ведь война давно кончилась и форма в Советской Армии уже другая. Он хочет их спросить, зачем это они все так нарядились, но они весело смеются, чокаются друг с другом стаканами с водкой и, глядя на него, говорят маме с отцом:

– Какой у вас парень вырос здоровый, сильный и красивый, просто загляденье! И выучился на инженера! Ну, не зря вы жизнь прожили, не зря! Давайте выпьем за Сергея и Дору! И за нашего Сенечку!

И все они громко шумят и чокаются, и одобрительно кивают, глядя на него. И вдруг он с ужасом понимает, что происходит что-то не то! Ведь он-то уже давно взрослый, а никакой не «Сенечка», родителей его, таких вот, какими он их помнит, в старой военной форме, молодых и энергичных, на свете давно нет. И родственники, все эти шумные дядя и тетки, пьющие водку по-фронтовому, поющие под гитару:

– Го-о-рит све-ечи-и ога-арочек...

Они тоже давно умерли, и он, взрослый (да что там, пожилой мужик!), просто не может сидеть с ними за одним столом, как когда-то, в ушедшем навсегда детстве. И, с внезапно настигшим его ужасом откровения, он резко пробудился, вскочил с дивана в холодном поту, сбрасывая с себя, как паутину, кошмар тяжелого дневного сна...

Сидел на диване, прислушивался к голосам детей, игравших на улице, лаю собак, шуму машин. Посмотрел на стенку, где висел календарь.

«Девятое мая, День Победы. Потому и приснилось...»

Этот день всегда был для него тяжелым. С тех пор, как умерли родители. Отец погиб на оборонном заводе во время взрыва в каком-то очень секретном цеху, когда господину Н. (тогда еще Сенечке) едва исполнилось двенадцать. Мать ушла через два года, буквально стогрела от рака легких в считанные месяцы. Четырнадцатилетнего Сеню растила и воспитывала старшая сестра матери, тетя Рита, фронтовой хирург. Своих детей у нее не было, муж умер почти сразу после войны, и она взяла Сеню к себе. Тетя Рита делала все правильно, кормила Сеню в соответствии с медицинской наукой, заставляла заниматься спортом, одевала хоть и не модно, но чисто, следила, чтобы он не якшался с дурными уличными компаниями и тщательно делал уроки. Но праздники для него с тех пор кончились. А День Победы Сеня, нынеш-

ний господин Н., переживал особенно тяжело. Наверное, никак не мог забыть теплых застолий детства, той атмосферы торжественной и печальной радости его родных, чудом уцелевших победителей страшной войны. Но и не только поэтому. День Победы для него был всегда тяжелым еще и потому, что, по какой-то странной прихоти сознания, в этот день вспоминалось почему-то все самое неприятное, тяжелое, постыдное, что случалось в его жизни. И с каждым разом всплывало таких воспоминаний все больше (накапливались с годами), и вырисовывались они перед внутренним взором все ярче, во всей своей босой неприглядности. Конечно, господин Н. гнал от себя черные мысли, срабатывала спартанская школа покойной тети Риты («гони тухлые мысли, Семен, проветривай мозги, как воздух в квартире!»), но возраст, переезд в Израиль и одинокая жизнь эмигранта не способствовали радостному восприятию мира. Особенно это ощущалось вот в такой день. Девятого мая.

В этот день он всегда выпивал, хотя, как старый спортсмен, к алкоголю относился отрицательно, но... выпивал. Вначале соблюдая извечную российскую традицию поминовения умерших, а в последние годы, уже в Израиле, просто глушил в себе в этот день накопившуюся за жизнь черную тоску по Несбывшемуся, гасил всплывавшие в памяти прежние обиды. Надо сказать, Валентина, с которой он жил уже почти три года и, что греха таить, в которой впервые за всю жизнь угадал своего человека, замечала его состояние в День Победы и старалась отвлечь, не допустить его «провалы» (боялась, добрая душа, что вдруг ее любимый «мужичок» начнет, чего доброго, спиваться), а он только посмеивался:

– Ну, что ты, Валя, если уж до такого возраста не спился, то теперь-то уж...

Она успокаивалась, понятное дело, переживала за него, а он старался не показывать ей своей тоски в этот день, выпивал по утрам, когда она уходила на работу.

Но старый российский способ, наверное, ему не годился, легче не становилось, наоборот, воспоминания захлестывали, заставляли вновь переживать уже забытое прошлое, беречь старые раны.

Вот и сейчас совсем некстати вспомнилось. Чтобы отогнать неприятные воспоминания, господин Н. открыл холодильник и, воровато оглянувшись (почему? Валентины все равно не было), налил в картонный стаканчик водки, положил в тарелочку закуски – нарезанный ломтями черный хлеб с соленой рыбкой, потом достал из ящика стола жестяную коробку с фотографиями, вынул несколько старых пожелтевших фото, аккуратно разложил на столе, вгляделся. Каждый год в этот день он проделывал странный ритуал, раскладывал на столе фотографии, чокался с ними, то, чего никогда не было при их жизни, поминал ушедших. Вот и сейчас он всматривался в знакомые лица... Мама и отец в обнимку, оба в военной форме, рядом еще какие-то, совсем молодые, парни с автоматами и медалями на гимнастерках – все на фоне полуразрушенного немецкого фольварка... Дядя Мирон в старой гимнастерке с кубарями в петлицах, выпускник пехотного училища. А вот он же в новой форме, с погонами лейтенанта, на груди медаль «За отвагу», гвардейский значок и нашивка за ранение. Это уже после Сталинграда... Дядя Марик в летном шлеме и кожанке на фоне штурмовика, стрелок-радист... Бабушка вспоминала, что до войны Марик был самым талантливым математиком в школе, побеждал на городских олимпиадах, золотой медалист, поступил на первый курс мехмата МГУ. Осенью 41-го, наплевав на «бронь», ушел в летное училище... В 44-м его «Ил» сгорел в бою на Яссо-Кишиневской дуге... Тетя Лиля и тетя Рита, обе в гимнастерках с лейтенантскими погонами, в кругу младшего медперсонала и раненных, перебинтованных, искалеченных мальчишек. Один с гармошкой, что-то поет. Все улыбаются. За их спинами разрушенные дома какой-то деревни, виднеется остов сгоревшего танка. Разбитое распятие у края дороги. Польша, 1944-й... Дядя Арнольд вместе с экипажем своего танка, сидят на траве, привалившись к броне. Вымотанные боями, перемазанные соляжкой, в танкистских шлемах, сдвинутых на затылки. На гимнастерках скупые фронтовые награды. Господин Н. еще мальчишкой научился отличать эти закопченные фронтовые ордена «Красной звезды» и «Отечественной

войны» от юбилейных чистеньких побрякушек. Капитан Арнольд Аранович и его боевой экипаж, май 45-го., Венгрия. Балатон...

Господин Н. поднял стакан с водкой над разложенными на столе коричневыми фото.

«С Днем Победы вас, мои дорогие... – опрокинул в глотку. – Фу, гадость, наверняка, «паленка», – закусил черным хлебом с соленой рыбой...»

Сидел на диване, ощущая, как растекается хмель по телу. Он не любил ни громких слов, ни сентиментальных речей.

Просто даже ненавидел эти речевки, какие обычно произносят в подобных случаях. Потому что благодарность людям, выжившим и победившим в такой войне невозможно выразить никакими высокими словами. Но вот так, наедине с собой и старыми фото, когда никто не слышит и не видит... Говорил теплые слова ушедшим навсегда, какие никогда не говорил им при жизни. И всякий раз из глубин замутненного алкоголем сознания вырастал один и тот же вопрос, мучивший господина Н. еще смолоду: правильно ли живет он на свете? И оправдывает ли он своей жизнью, хотя бы в малой мере, тот пережитый страх ежечасной смерти, голод, ранения, что выпали его родным в середине жестокого века?

«Получается, как ни крути, они спасали меня, еще не родившегося, от уготованной мне судьбы недочеловека, раба, подопытного кролика для «господ-арийцев», живого консерва, мыла, набивки для подушек, абажура для настольных лампочек. А я? Оправдал ли я своей жизнью их надежды на лучшее? Они ползали по грязи под обстрелом, горели в танках, стреляли из «максимов» по пикирующим «мессершмиттам», уходили в тыл врага, не надеясь вернуться, валялись в гнойных бинтах по госпиталям, их допрашивали «смершевцы» за не взятые к юбилейным датам «высоты». А они рассказывали потом обо всем как-то легко, буднично. Да еще и шутили...»

– А как же? – объяснил ему как-то дядя Мирон. – Как же на фронте без шутки? Если не посмеяться при случае, то так и застрелиться недолго. Ведь, бывало, и ужас подкатывал к горлу, и отчаяние. А посмеешься над какой-то глупостью, и легче становится.

«Ну, а я-то что? – спрашивал себя господин Н. – Жизнь как-то незаметно подошла к финишной черте, шестьдесят... В России в этом возрасте уже не живут. А что конкретно сделал в своей жизни? Чего добился? Были у меня в прошлом победы ценой большой крови? Рисковал жизнью, переходя линию фронта, как дядя Ося, диверсант ОМСБОНа<sup>43</sup>. Бежал под пулями к колючей проволоке лагеря смерти, чтобы уцелеть и воевать в одесских катакомбах, как пятнадцатилетний Лесик, бабушкин племянник? Спасал ли кого от смерти, вытаскивая невзорвавшуюся мину из тела раненного сапера, как тетя Рита? Горел в танке, как дядя Арнольд или лежал за «дегтяревым», сдерживая накатывающийся вал наступающих «фрицев» в развалинах Сталинградского тракторного завода, как отец?»

И понимал он, что вопросы-то наивные, и нельзя сравнивать разные времена, и никто из этих людей, его родных, не хотел такой жизни. Героями их сделало время. Но... всю свою жизнь господин Н. чувствовал некую вину, что прожил на свете, в общем-то, довольно спокойно и даже, временами, комфортно. Страха смерти он не испытал. А голод? Ну... положим, было... Сначала в армии, первые полгода, когда был еще «салагой». Тогда «деды» сначала пытались его запугать избиением, но не вышло, он был очень здоров, схватил по гантеле в каждую руку, прижался спиной к стенке казармы и ждал. Напасть «деды» не посмели. Но кто-то (кажется сержант Усик, «западенец» с Ужгорода), прошипел:

– Ну, погодь, жидяра... С голоду сдохнешь...

И его гоняли по «нарядам», да так, что он не успевал пожрать в столовой, а если успевал, доставались какие-то объедки-опивки, даже пайку его хлеба кто-то сжирал. Продолжалось это месяц. Или два? И вот, когда голод стал терзать его кишки, и хотелось лишь одного: ворваться

---

<sup>43</sup> ОМСБОН – отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД

в полковую хлебобрезку, вырвать у дежурного сержанта батон горячего хлеба, забиться в какой-нибудь темный угол и жрать, жрать, жрать... И тогда кто-то из втайне сочувствующих ему «черпаков» шепнул тихо, после отбоя:

– Ты зайди к нашему старшине... только после отбоя... так, чтобы свидетелей не было... и... сам знаешь. Ты же хлопец здоровый... главное, без свидетелей...

И он зашел, как и было сказано, тихо и закрыл тяжелую дверь на задвижку, и пошел на сидевшего за длинным столом старшину Маркуляка, и в глазах была какая-то красная мгла. А тот, мордастый, шестипудовый, вдруг все понял, и быстро заговорил, замахал руками, но он схватил стоявший у стенки бильярдный кий и...

Зато всю оставшуюся службу у господина Н. проблем не было, ни со жратвой ни с «нарядами». Но разве это победа? Так, ерунда... Что было дальше? Голодал он вместе с другими участниками экспедиции на острове Вайгач. Две недели просидели на подножном корму, благо было лето. Стреляли чаек и собирали в тундре ягоды. Но это ничего, не ленинградская, все же, блокада... И когда уволили его с работы, по указанию КГБ. Не согласился он сотрудничать тогда с «органами», не стал «стукачом». Ну и помотало его, нигде не мог устроиться на постоянку, работал грузчиком в бакалее, потом истопником, мотался с археологами на Алтай, денег не хватало даже на еду. Но как-то дожил до «перестройки», не сдох, не скурвился в «стукачество», не спился... Трудно было, конечно. Но можно ли считать это победой?

Разумеется, сталкивался и с юдофобией. И при поступлении в институт, и при приеме на работу. Но тогда это, опять же, считалось обычным делом. Железная тетя Рита, заменившая ему отца и мать, уже тяжело больная, говорила ему:

– Постарайся не обращать внимания. Нелюбовь к евреям в России – это, как природное явление. Правда, до войны мы уже забыли, что мы – евреи. Но после войны нам быстро об этом напомнили...

И он старался. Но получалось плохо. Наверное, тут была виной сама тетя Рита. Она всегда говорила:

– Не поддавайся ударам жизни, не мирись с ее пошлыми глупостями. И не обращай внимания на людские мнения. Мало ли кто что говорит? Большинство людей, к сожалению, носят в себе, как хроническую болезнь, как язву желудка, кучу пережитков прошлого. От этого и все наши беды.

Да, еще и его мускулатура тут была виной, его упорные занятия спортом в юности. Когда у человека такая мускулатура, то как-то неприлично глотать оскорбительные намеки. Вот он и не глотал. А его приятель, с коим вместе учились в институте, а потом работали в одном НИИ, Костик Беренбойм, так он не обращал внимания. При Костике могли рассказать «потешный евгейский» анекдот. И Костик смеялся вместе со всеми. При Костике могли где-нибудь в походе, у сладко дымящегося костра, спеть песенку на мотив популярного в то время шлягера «В нашем доме поселился замечательный сосед...»:

«Только глупые грузины увлекаются овцой  
Все жида на именины объедаются мацой...»

И Костик не обижался. А вот господин Н. не мог этого всего слышать и, тем более, шутить вместе со всеми. Однажды, возле такого уютного костерка, он взял да и набил морду одному шутнику-«мэнээсу», в пьяном угаре сокрушавшемуся о том, что «как же это Сталин с Гитлером рассорились в 41-м, а то разделили бы Европу по-братски, жидов бы всех извели под корень, и Мировой войны бы не было». Господина Н. потом отдельные дамы успокаивали, мол, пошутил наш Серенька спьяну, а ты, Дрейзин, бросился на человека, такой вечер испортил. «Сереньку» долго приводили в чувство холодной водой, заботливо вытирали кровавые сопли, а на господина Н. смотрели с осуждением. И он ушел из лесу от этого дружного сбо-

рища с каким-то облегчением в душе. Прошагал километров десять до ближайшей станции на одном дыхании, бросив на прощание теплой компании:

– Вы такие же фашисты, как и ваш Серенька!

Костик, этот всехний примиритель, еще пытался его остановить, отговорить. Но он ушел от них, ехал в электричке с легкой душой, с мыслью, что наконец-то сделал что-то, и его «фронтовые дядья», уже ушедшие к тому времени из жизни, были бы им, наверное, довольны...

Что еще? Дальше в его жизни было все вроде бы гладко, как у всех прочих. Женился он на русской девочке, по любви женился, и все вначале было нормально, но тетка Рита, узнав, что Светка не еврейка, вдруг как-то поморщилась (это она-то, коммунистка, учившая г-на Н., что нет плохих народов, а есть плохие люди!) и произнесла странную фразу:

– Трудно вам будет вместе... Веры у вас разные.

– Причем здесь веры? – удивился тогда г-н Н. – Мы же все неверующие, атеисты то есть, да и Светка современная девчонка, из интеллигентной семьи, какие тут могут быть предрасудки?

Н-да... Суровая тетя Рита оказалась права. Любовь-морковь, это, конечно, бла-а-ародно, но пошли дети, начались материальные трудности, жили они тогда у Светкиных родителей. И как-то, придя домой с тренировки по регби, развесил свои спортивные треники в ванной (он и дома так делал), вышел на балкон и вдруг услышал, как теща, Мария Васильевна, (интеллигентная такая дама, кандидат каких-то там наук) сварливо сказала дочери:

– Скажи своему, чтобы вонючие свои штаны и носки в ванне не вешал, он живет в русском доме, а не в своей Жмеринке...

Светка горячо защитила мужа, мол, Сеня – москвич, а вовсе не из какой-то там... мать ей что-то возразила, но г-н Н. уже не слушал. Кровь бросилась в виски, изнутри волнами наплывала, застилала глаза, неподконтрольная ненависть, и к вечернему чаю он не вышел, боялся, что сорвется, а Светку обижать не хотелось. С того самого вечера держался он с родителями подчеркнуто корректно, треники вешал на балконе, на тревожное Светкино «Сень, тычегосмамойнеразговариваешымолчишь повечерамкаксыч» – не отвечал. Он взялся подрабатывать вечерами грузчиком на комбинате «Красный Октябрь», а когда сорвал спину, то пошел в подпольную «шабашку» по изготовлению мебели, за три года заработал на кооперативную квартиру и перевез Светку с двумя детьми туда. К ее интеллигентным «предкам» приезжал по большим праздникам, сидел за столом, ловя боковым зрением тревожные Светкины взгляды, вежливо улыбался теще и выпивал с тестем, Сан Николаичем, начальником отдела крупного московского НИИ, по праздничной рюмочке. Но на «душевные разговоры» не шел ни в какую, слишком хорошо запомнил про «русский дом и вонючую Жмеринку». Родители ее, наверное, что-то почувствовали и тоже держали дистанцию, а потом и Светка как-то постепенно охолодела, отдалилась. Правда, было еще двое детей, Стасик и Танюшка, которые как-то незаметно и быстро росли. Но и ежедневная тягомотина официальной службы, и подпольные заработки – все это относилось к заурядной бытовухе и никак не могло сравниться с героической жизнью его родных, спрессованной в четыре года кровавой Отечественной войны. И когда случилась вся эта история с КГБ, и выгнали с работы, то Света его срочно бросила, не желая, как она выразилась, «пятнать себя и детей связью с сионистом». Он не сердился на жену, понимал – она просто испугалась. Но он не сломался и в одиночку выжил как-то. Но разве это можно считать героизмом? Его «предкам», пережившим расстрелы 37-го, было страшнее...

А вскоре на страну обрушилась «перестройка». Вся жизнь сорвалась с места и завихрилась в какой-то безумной пляске, и он, некогда законопослушный инженер, обремененный семьей, а затем ставший «врагом общества», вдруг влетел в какую-то правозащитную группу, стоял в пикетах против войны в Афгане. Дальше – больше: участвовал в митингах, дрался с «ментами» во время демонстрации памяти жертв сталинских репрессий. Весной 90-го, вместе со всей демократической Москвой, впервые выбирал некоммунистический Московский

Совет, цеплялся на «Пушке»<sup>44</sup> с «нациками» из «Памяти»<sup>45</sup>. Потом был знаменитый Первомай 90-го, когда впервые за 70 лет, на Красную площадь вылилась волна трудящихся с разноцветными флагами демократических партий и национальных движений, и митрополит Московский с громадным крестом, проходя мимо Мавзолея, крикнул Горбачеву:

– Христос воскрес, Михаил Сергеевич!

...А потом всеобщая эйфория свободы закончилась и вдруг, как по команде, исчезло из магазинов все, даже черный хлеб, и загрохотали по улицам Москвы танки летним утром, и в телевизоре замаячили какие-то, уже забытые, свиные рыла. И тогда он вышел на улицу, вышел, несмотря на испуганные глаза его выросших детей, пришедших к папе в гости, вышел в танковый грохот вместе с другими, отчаявшимися и уставшими от большевистского беспредела людьми. И они шли по улицам цепью, взявшись за руки, к ним присоединялись другие, и так до Красной Пресни, где возле Белого Дома уже возводились нелепые баррикады из перевернутых автобусов. И все эти следовавшие пять суток августа он прожил в каком-то красном тумане, его руки сжимали ствол давно забытого АКМа (кто-то в военной форме сунул ему этот ствол). Он пил водку у ночных костров с такими же, как он, и все повторял про себя слова услышанной когда-то в юности песни: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья...» И в затуманенной алкоголем и эйфорией голове его билась единственная мысль:

«Вот оно... наконец-то... и я теперь чего-то стою... я им теперь за все отомщу, за все...», – хотя кому «им» и за что он собрался мстить, так и не мог объяснить.

А потом все разом кончилось. Танки, вызванные путчистами давить бунтовщиков, внезапно присоединились к защитникам Белого Дома, войска братались с народом, Ельцин кричал с танковой брони о победе демократии, потом торжественно хоронили погибших в ночном бою и... Все постепенно расплзлось по углам и устаканилось.

Уже в Израиле он часто спрашивал себя: была ли это действительно народная победа? Или же опять кто-то использовал таких, как он, идеалистов в своих целях? И началась какая-то странная новая жизнь. Часть его старых товарищей ловко ввинтилась в депутаты Моссовета, другие бросились «рубить бабло», благо деньги в то смурное время валялись под ногами. Кое-кто из его приятелей-«афганцев», с кем стоял на баррикаде у Белого Дома, подались в «крутые» бандиты, а кто-то просто пытался выжить, продавая шмотки и книги.

И тогда господин Н. решил уехать. Хотя приятели активно звали, кто в депутаты, кто в бизнесмены, а кто и в бандиты. Ему, как еврею, ехать можно было в Израиль, дорожку в Штаты тогда уже перекрыли. Он, конечно, колебался, чужбина все же, хоть и расписывали «родину предков» сохнутовские зазывалы, (прямо райские кущи!), но в это верилось плохо. Господин Н. по натуре был скептик и не мог представить, чтобы коренной израильский еврей уступил какому-то репатрианту, хоть и десяти пядей во лбу, престижную работу, пентхауз с видом на море и роскошный лимузин. И, слушая очередного сладкогласого «соловья» на собрании в Еврейском культурном центре, совсем некстати вспоминал Маяковского:

«Будете доить коров в Аргентине,  
Будете мереть по ямам африканским...»

Но помог подлый случай. На вечере в районном Доме культуры им. Горбунова. Дискуссионный клуб «Соотечественники». Встреча представителей демократической общественности с гражданами. Это было очень модно в те времена. Набилось народу в зал «под завязку». На сцене, осененной трехцветными знаменами (красно-бело-синие и черно-бело-золотые

---

<sup>44</sup> «Пушка» – Пушкинская площадь в Москве, где в 1988–1990 происходили стычки между национал-большевиками «Памяти» и представителями антифашистских молодежных групп.

<sup>45</sup> «Память» – в 1985–91-м годах, национал-патриотическая организация, ставившая своей целью «освобождение России от евреев и масонов».

с двуглавым орлом – колера), шумно дискутировали представители демократов и русские «почвенники». И вот в разгар горячего спора, куда следует идти России после отмены коммунизма и после Беловежских соглашений, на сцене вдруг появился некий невзрачный гражданин, скверно одетый и явно алкогольного вида, в котором господин Н. сразу узнал своего соседа по лестничной клетке Витю Климашина. С этим Витей он часто сталкивался в парадном, на улице, в районном «Универсаме», ездил с работы в одном автобусе. Витя был вполне безобидным работягой завода им. Хруничева, частенько выпивал, но не бузил, а, подчиняясь командам жены, ядреной русской красавицы с замашками комдива, покорно уходил отсыпаться.

На этот раз Витя был непривычно трезв и, агрессивно взмахнув тощей лапкой, пронзительно заверещал:

– Вот мы вас тут целый час слушаем, господа демократы! А что-о мы имеем, мы-ы, рабочие в р-результате ваших действий?! На нас Россия держится! А вы-ы ку-уда-а нас снова тащите?! Была великая страна, а што-о вы с ней сделали? В семнадцатом Троцкие-шмоцкие русским людям геноцид устр-роили, мил-ли-оны стноили, цер-ркви святыя рразрушили! А теперь снова голодом русского человека морите?! Жвачку с кока-колой вместо хлеба?

И зал взорвался хлопками, свистом, выкриками:

– Пр-равильно! Так их, демократов х. вых! До-ло-ой си-о-ни-стов!

И перекрывая свист и топот, хилый Витя (откуда только сила взялась в его петушиной грудке?) заорал, обращаясь к бороатым патриотам, восседавшим в правой части длинного стола:

– Братья! Да што ж вы с ними дискуссии ведете?! Посмотрите, кто они такие! Это же натуральные жида-ы!

– Га-а-а-а! – грянул в ответ зал.

Свист. Грохот армейских ботинок. Выкрики «Долой сионистов!». Некто крупнофигурный, в черной косоворотке, поднялся с места, взмахом руки утихомирив бушевавший зал и обратился к растерянным представителям демократов:

– Вот! Видели? Это с вами говорит русский народ! И мы предупреждаем вас, господа евреи, ведите себя прилично! При-лич-но! Здесь святая Русь!

– Га-а-а-а! – снова взревел зал.

Дальше господин Н. не слушал. Он покинул взопревшее от патриотизма сборище, стиснув кулаки, и твердо решил:

«Ехать немедленно. Ни дня больше здесь не останусь».

Собирался он, как в сером тумане, багажа никакого не брал, только собрал свой старый полевой рюкзак да пару спортивных сумок. Наскоро попрощался с семьей, с которой к тому времени уже не жил, съездил на кладбище, зажег свечу на могиле тетки Риты, вырастившей его, да постоял возле серой бетонной стены, где был замурован прах родителей. Бывшая половина, Света, тогда притворно вздыхала, мол, куда ж ты теперь едешь, сейчас же как раз ваше время, ты так ждал демократии и перемен, ну и так далее...

– Не дай бог жить во времена перемен, – ответил он, вспомнив изречение Лао-Цзы или еще кого-то из древних китайцев, обнял своих выросших детей и...

И вот уже пятнадцать лет живет он вдали от прежней жизни, живет-выживает, стараясь не думать о прошлом, и лишь по таким дням, как День Победы, тихо садится в одиночестве за стол, достает старые фотографии, выпивает «фронтовые сто грамм» и вспоминает... Забытые голоса, лица, шутки, смех...

А может быть, не стоило убегать так поспешно от родных могил, от воспоминаний? Может быть именно там, на прежней родине было его место? Там остались его дети, друзья, женщины, любившие его когда-то... Может быть, прав был его товарищ по Антифашистскому комитету Женька Прошин, когда уговаривал его:



– Ну куда ты, Дрейзин, рвешься? Там же все чужое! А здесь мы с тобой та-а-кую деятельность развернем! Ты же наш человек! Да ты более русский, чем многие русские! А эти, в клубе Горбунова, это же шелупонь, отбросы, мы их скрутим в два счета!

Нет, все же правильно он тогда уехал. Женя Прошин, конечно, в гору пошел, заседает в Думе, оброс телефонами, секретаршами, лимузинами. «Памятников» и прочую нацистскую шваль, конечно, не скрутил, да ему это уже и не надо. Не смог бы господин Н. жить в этой новой России. А здесь как-то незаметно прижился, нашел свою среду обитания, встретил (наконец-то!) хорошую теплую женщину. Что еще человеку нужно? Правда, к жаре местной он так и не смог привыкнуть, и природа здешняя казалась ему какой-то искусственной, оранжевой. Никак не мог он эту природу принять...

Машинально, сам не заметив как, он вышел из дому и пошел, куда глаза глядят. Времени у него было достаточно, в этот день он всегда брал отгул, и начальство уже привыкло, что Шимон 9-го мая не работает. Он сел в автобус и покатыл в направлении Тель-Авива, втайне надеясь, что этот галдежный, суетливый средиземноморский город высосет его тоску... Так он очутился на Центральной автобусной станции, почему-то на шестом этаже, как раз напротив известного «русского» книжного магазина. Он сидел посреди всего этого шума и суеты, одинокий пожилой человек, затерявшийся в веселом чужом мире.

«А все же хорошо, что «предки» умерли до всех этих перемен, до развала страны, всеобщего хаоса и бегства врассыпную. Они бы не пережили, слишком во все верили...»

Он вспомнил историю поэтессы Друниной, ровесницы его родителей, воспевавшей в стихах жертвенное поколение, выставшее телами сталинскую победу. Чудом уцелевшая в мясорубке войны, Друнина продолжала верить в правильность «светлого пути», верить, несмотря на «разоблачительные» съезды партии, юдофобскую вонь 70-х и покаянные «перестроечные» публикации «Огонька». Но в 91-м, после развала «великой страны», покончила с собой, отравившись газом.

«Вот и мои могли бы также, – думал господин Н. – Честному, искренне верующему человеку всегда трудно, когда ломается основа его веры. Слава Богу, умерли с убеждением, что все их страдания послужили Победе. Ну а я? Есть ли смысл в моем существовании? Конечно, я старался жить по совести, были у меня и мои маленькие победы, и поражения. Приходилось и драться, и выживать... Но, разве можно это сравнить с трагической участью поколения победителей?».

И тут к господину Н., охваченному печалью по поводу тяжелой судьбы «поколения победителей», внезапно подсел, известный в местных журналистских кругах, шустрый Гошка Юдкин. Он печатал в популярной «русской» газете свои бредовые «фэнтезийные» описания, неизменно присутствовал на всех тусовках и презентациях и, что называется, «создавал известность» тем литераторам, к которым сам благоволил. В последний раз господин Н. пересекся с ним на Ярмарке русской литературы в Иерусалиме, где Гошка подобострастно извивался вокруг известного московского журналиста Мити Коровина, коего представил господину Н.:

– А вот и сам Митя Коровин! Живой!

«Живой» Митя Коровин, брезгливо трясая жирными телесами, высокомерно кивнул господину Н., а тот удивился, чего это Гошка так выплясывает перед этим популярным в российской либеральной тусовке выкрестом-антисемитом.

И вот сейчас Гошка с ходу затараторил:

– Привет, старина! Что-то давно тебя не видно, не слышно! Пишешь чего? Секрет? А вот я тут был недавно в одной клеевой тусовке! Слышал про журнал «Лунное затмение»? Интересные ребята, и пишут очень оригинально. Вот, послушай! – и, заметив нетерпеливое движение господина Н., схватил его за руку. – Да знаю, знаю, что не любишь ты модернистов, но... Талантливо же пишут, стервецы! – и начал громко (тихо он не умел) декламировать:

«Надсадно кашляя о рваненькое рядно,  
Он правит замком, кАкав на толпы.  
Бахилы памяти, неправые подушно,  
Замолотил, урван, дарордер красножоп!  
Там почивал каркар, синея другорядно,  
Стань раком – сумоброд  
Заклидывая дрок...»

– Слушай, может, хватит? – попросил господин Н., тоскливо озирая окружающее пространство.

Вокруг уже начали собираться любопытные.

– Да, погоди ты! Дослушай! – дернул его за рукав Юдкинд и продолжил:

«Урви арбуз быта,  
Закравав маслом кочку!  
Непарных полусна урыл об унитаз!  
Стилистику – к х. ям!  
Почию многоножно  
Хрипящей клиниккой бершанский буквомат!».

– А?! – восторжено воззрился Гошка на господина Н. – Класс! А называется этот стих «Какивы памяти»<sup>46</sup>. И посвящается патологической бессмыслице прошлогодней ливанской войны.

Вот это цитирование было Гошкиной ошибкой, ибо в такой день господин Н. не воспринимал ни шуток, ни, тем более, шизофренических извращений модернистской поэзии. Этого он уже не мог стерпеть.

– Че-его-о-о? Да кто из этих педиков-пацифистов был там, в Ливане?! Какое они право имеют сочинять о войне? Просиживали задницы в кафе на Шенкин<sup>47</sup>, пока их сверстники погибали, штурмуя Бинт-Джебель!

– Да, тише, ты, ненормальный! – шикнул Гошка. – Это же поэзия! Ретроспективный взгляд! Поэт имеет право выразить свое несогласие с патологической жестокостью мира! Опора современной поэтики – алогизмы и аграмматизмы, и...

– Слушай, знаешь такую поэтессу, Юлию Друнину? Она умерла в 91-м, в Москве. Вот у нее были стихи о войне...

– Как же! Почему это я не знаю? Но это советская примитивщина, старикан! Журнал «Юность» за семидесятый год! – и Юдкинд картинно продекламировал:

«Я ушла из детства в грязную теплушку,  
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  
Дальние разрывы слушал и не слушал  
Ко всему привычный сорок первый год...»

– Ты знаешь, какой сегодня день? – господин Н. уже с трудом сдерживался.

– Какой день? Обыкновенный, а что? – Юдкинд растерянно смотрел на господина Н.

---

<sup>46</sup> «какивы памяти» – этот перл не я придумал, а прочел у кого-то из наших израильских «модернистов».

<sup>47</sup> улица Шенкин в Тель-Авиве – место сборищ элитной левацкой молодежи, выступающей против войны с арабскими террористами, за диалог с «Хамасом» и ООП.

– День Победы сегодня, понял?! И ровно шестьдесят два года назад вот такие же по возрасту, как твои «модернисты», двадцатилетние ребята разнесли вдребезги нацистский рейх. Они взрывались под танками, они шли на пулеметы, чтобы такие му. звоны, как вы, могли сегодня спокойно сидеть в кафе и сочинять ваши убогие вирши! – господин Н. с силой тряхнул обомлевшего Гошу за «грудки» и тот рухнул на скамью. – Но я хочу тебя спросить, – продолжил господин Н., – сегодня на нас прет «зеленый» радикальный ислам, и это будет пострашнее Гитлера. Вы хоть понимаете своими куриными мозгами, что останавливать и бить его придется вам, модернисты-пацифисты? И никуда вам от этого не убежать, и в кафе на Шенкин не отсидеться! Иначе они скоро яйца начнут вам отрезать!

– Брось ты, Сень! – Гоша очухался и разулыбался. – Чего волну гонишь? Какой «зеленый ислам»? Наслушался ты этих, своих дружков-поселенцев! Это им под каждым кустом «хамасники» мерещатся. А вот сделают Штаты еще пару денежных вливаний, почувствуют твои «зеленые фашисты» запах долларов, и все! Лет через пять-десять будет здесь свободная экономическая зона, и вы тогда первые оборжетесь над своими страхами! И появится здесь демократическое государство Палестина, в котором евреи с арабами...

– М...ак ты, Гоша, – с деланным спокойствием сказал господин Н., – и друзья твои м...аки. С таким настроением загонят вас арабы в гетто через годик-другой и будете вы не водку в кабаках пить, а намаз сотворять пять раз на дню! И подобные вирши вам не дадут сочинять, ибо объявят их сатанинскими. А за педерастию будут сечь публично розгами, ибо занятие сие противно Аллаху! А теперь катись на х...!

– Я на больных не сержусь! – крикнул в спину уходящему господину Н. Юдкин. – Вот встретимся через год в День Победы и сам увидишь!

Но господин Н. уже не слышал его, он быстро уходил от этого шумного места. Горечь почему-то не рассеялась, наоборот, клубилась в груди каким-то серым ядовитым туманом, и он повторял про себя привязавшиеся строки:

«Мне уходить из жизни  
С поля боя...  
И что в предсмертном  
Повидаю сне,  
В последний миг  
Склонится кто – ко мне?». »

Господин Н. не знал, что этот День Победы – последний в его жизни, что не доживет он до следующего, рухнет на мостовую посреди шумного тель-авивского дня, выпустит из руки тележку с купленными фруктами, и рассыпятся-покатятся апельсины по нагретой солнцем мостовой, и улетит его беспокойная душа в иные миры, не оставив следа на Земле.

И только Валентина еще долго будет убиваться по нему, еще долго все не сможет поверить, что ее, такого надежного, сильного и доброго «мужичка» больше нет на свете. Но все проходит, житейская суета берет свое и, в конце концов она успокоится, благо ее дочка выйдет замуж, появится внук, а с ним и новые, приятные заботы, и станет она опять такой же, как все.

## **Запись в дневнике г-на Н. (Зима 2004 года)**

«...Я не очень люблю ворошить свое прошлое. В нем было много неприятных для моего самолюбия моментов. Но в последнее время, так как я живу один, и не с кем поговорить, графоманская болезнь одолевает меня. Потому, примерно год назад я и начал писать некое подобию дневника. Я даже подумывал, не озаглавить ли его. Например: «Воспоминания шлимазла».

Когда-то, еще в детстве, бабушка так меня называла. Вроде бы в шутку. Когда я попадал в очередную историю. Да и истории-то были из тех, что случаются в жизни каждого мальчишки: падения с велосипеда, синяки, полученные в очередной драке, гол, забитый по ошибке в чужое окно, двойка по контрольной... Но в чем моя бабушка Фима была права – у меня всегда в этих рядовых происшествиях присутствовало нечто особенное. Какая-то особая неvezучность.

Вот, например, падение с велосипеда. Это было не просто падение. Я, погнавшись за воришкой, ловко цапнувшим с ручки моего велосипеда «авоську» с вкусными булочками, выехал на проезжую часть и врезался в проходящий мимо трамвай. Мало того, что разбил вдребезг колени и локти – на беду рядом оказался милиционер, меня задержали, как нарушителя, и бабушке пришлось меня выручать из отделения милиции. Правда, там мне оказали первую помощь и в школу обещали не сообщать, но дома наказали, лишив велосипеда на месяц, да и «авоська» с аппетитными булочками канула в небытие.

Или случай с контрольной по истории? Война Алой и Белой роз. Я знал этот материал, как пальцы на собственной руке. Написал контрольную одним из первых в классе и сидел себе спокойно. А надо было просто сдать листок учительнице. Но сосед по парте, Вовка Парфенов, хороший математик, но полный обалдуй в истории, попросил у меня сдать.

Он помогал мне сдвигать алгебру с геометрией, как я мог ему отказать? А в результате он получил четверку, а я «пару» за то, что якобы списал у него контрольную. Так и было написано на моем листке. И я ничего не мог доказать, потому что тогда подвел бы друга. И вот после той контрольной покойная бабушка и выразилась в мой адрес, дескать, поздравляю, шлимазл у нас растет. А соседка по «коммуналке», суровая и верующая в Бога Анна Дмитриевна Нитовщикова, вздохнула:

– Нашему Ванюшке везде камешки.

На мой вопрос, что означает это самое «шлимазл», ясного ответа от мамы и бабушки я не получил. Но дядя Мирон, учившийся тогда в МВТУ и приходивший к нам в гости на выходные, как бывший фронтовик, разъяснил жестко:

– Шлимазл – это еврейский дурак. Но в отличие от русского Ивана-дурака, которому иногда фантастически везет, шлимазл – это не просто дурак, а дурак классический, музейный, пла-не-тар-ный! Которому не везет никогда! Понятно?

Вывод из этого был только один: еврей должен быть умным. Или хотя бы казаться таковым. В противном случае...

Но, очевидно, Всевышний раздает каждому по его умственным способностям. В нашей семье шлимазлов не было. До моего появления на этот свет.

С окончанием золотого детства мои приключения не кончились. Обычно считается, что евреи в школе ходят в первых учениках, получают грамоты за отличную учебу, участвуют в шахматных и математических олимпиадах, либо играют на музыкальных инструментах.

Я в школе учился ни шатко, ни валко, в математике был полным тупицей, из третьего класса «музыкалки» меня попросили уйти. С гуманитарными дисциплинами было легче (у меня была хорошая память), но кому нужны были в наш технический век гуманитарии? Мой дядя Мирон, как бывший член ОССОВИАХИМА и «Ворошиловский стрелок», после

математики более всего уважавший на свете физкультуру, на одном из семейных советов категорично заявил:

– Если у парня нет технических способностей и тяги к музыке, но есть здоровье, пусть идет в спорт!

Здоровье у меня было. И меня торжественно, по совету неугомонного дяди, отвели в районную секцию бокса. Именно бокс должен был сделать из меня человека. И именно с бокса все и началось. Правда, вначале моя боксерская карьера складывалась удачно... Мой тренер, Виктор Андреич, хвалил меня за агрессивность и небоязнь ударов, но, тем не менее, все время ворчал:

– Не лезь вперед. Береги голову! То, что ты храбрый – это хорошо. Но помни о защите! Руки выше! Не открывайся! – и с осуждением вздыхал: – Слишком ты прямолинейный...

Через год у меня был уже второй разряд, пацаны во дворе и школе меня зауважали, но тут случился казус. Казус случился в спортивном лагере, куда я поехал на лето оздоравливаться и готовиться к осенним соревнованиям.

– Осенью на первенстве ЦС сделаешь первый юношеский, а там... – и тренер выразительно крутил рукой в воздухе.

Он в меня верил. Он не знал, что судьба моя начертана свыше. В спортлагере я сцепился с Сергеем Володенковым из футбольной секции. Сцепились мы, разумеется, из-за Алки Некрасовой, гимнастки и первой красавицы спортлагеря. Серега что-то там сказал про ее невинность, я вспылел и вызвал его на дуэль. На кулаках. Мои товарищи по боксерской команде были уверены в моей победе, но загвоздка заключалась в том, что наглый футболист Серега был уличный боец, хорошо известный, несмотря на юный возраст, милиции нашего района. В школе пятнадцатилетнего Серегу побаивались даже старшеклассники. Его старший брат уже сидел в колонии, чем Серега ужасно гордился. К тому же он был почти на голову выше меня, обладал длинными руками, и резким прямым ударом в лицо, а кто занимается боксом, хорошо знает, что это такое. Но я не мог отступить. Алкины глаза все время маячили передо мной.

Уличный боец Серега молниеносным ударом сломал мне нос, но я, уже находясь в состоянии «грогги», каким-то совсем не боксерским приемом сбил его с ног, нанес несколько ударов в пах, и он признал свое поражение. Увы, победа моя оказалась «пирровой». Разбитая носовая перегородка преградила мне путь к вершинам боксерской карьеры. Наш участковый «ухогорлонос», милейший доктор Ительсон, категорически заявил моей маме, что «у ребенка переходный возраст, лицевой скелет еще не сформирован, носовые кости сильно травмированы, и поэтому занятия боксом категорически противопоказаны». Да и тренер, узнав о моей «бытовой травме», присвистнув, сказал:

– Ну, что ж... не повезло тебе. Говорил же, держи руки у головы! Займись пинг-понгом... – и сразу потерял ко мне интерес.

Играть в пинг-понг я не стал, а занялся борьбой самбо, но спортивное везение покинуло меня. На ковре, как и на ринге, меня преследовали травмы и неудачи. В итоге я дошел лишь до первого разряда и на четвертом курсе института бросил все к такой-то матери. Тетка Рита, воспитывавшая меня после смерти родителей, как бы в шутку поддразнивала:

– Вечный перворазрядник.

Но это было уже потом, а тогда неудачи в боксе отошли на задний план. Ибо в восьмом классе меня настигла моя первая в жизни любовь. Я не знаю, как у кого, но судя по русской литературе, первая любовь всегда связана с чем-то очень светлым, романтическим, и если и оставляет в душе печаль несбывшегося, то все же это похоже на некий нежный аромат ночного цветка. А у меня от первой моей любви остался в душе горький осадок, как остаток недопитого кофе в чашке.

Именно тогда мне впервые дали понять, кто я есть на этой земле.

Надо сказать, что прежде я не сталкивался с презрительным к себе отношением как к еврею. Мой покойный папа был типичным славянином, я, естественно, носил его фамилию да и на еврея не был похож. Во дворе нашего ведомственного дома, принадлежащего крупному оборонному заводу, меня все знали, как сына главного инженера, Петра Ивановича. Среди моих родственников были, еще по моде первых пятилеток, распространены смешанные пары, как у моей суровой тетки Риты с ее украинским мужем, дядей Славой. Мои мама и бабушка никак не проявляли своего еврейства, кроме каких-то выражений на идише, смысла коих я не понимал, а они на мои расспросы дружно смеялись. Наверное, это было что-то неприличное.

Что же касается общего настроения, то после эпохи Сталина с ее фашистскими процессами против еврейских писателей и «дела врачей», в обществе предпочитали скромно помалкивать и не поднимать наболевшую «еврейскую тему». Страна строила светлое будущее. И весь советский народ без различия наций устремлялся в это будущее. «Без России, без Латвий». Так учили в школе. Так говорилось и пелось по радио. Особенно, пелось. «Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная и нету других забот...» В книжках братьев Стругацких мы читали о будущей коммунистической республике на Земле и о хороших, добрых людях, ее населяющих.

Надо сказать, что лично ко мне мои русские приятели относились вполне нормально. Разве только в раннем детстве... Во дворе меня лупил местный хулиган-переросток Луконин с криком «Жидок! Жиденок!». А в школе все было нормально. Особенно после того, как я стал посещать секцию бокса.

Но в восьмом классе я впервые всерьез влюбился. В одноклассницу. Ее звали Лена.

Так вот, эта Ленка, обладательница золотой косы, огромных серых глаз и довольно развитой для четырнадцати лет фигурой, любила стихи Вероники Тушновой и Эдуарда Асадова, а также мороженое «Эскимо» и ходить в кино. И мы, естественно, сопровождали ее после уроков, выполняя наперебой все ее капризы. Мы – это я и мои приятели Вовка Парфенов и Валерка Овчаренко. Лена благосклонно принимала наши ухаживания, но кого она предпочитала, мы не могли понять. Каждому из нас она ухитрялась подарить кокетливый взгляд из-под пушистых ресниц, одарить улыбкой «а-ля Любовь Орлова», слегка пожать руку в темноте кинотеатра. Правда, целовать себя она не давала. Я почему-то был уверен, что все эти знаки внимания предназначались исключительно мне, как самому сильному в нашем «прайде». Единственное, что настораживало, то, что она никак не хотела согласиться на индивидуальное свидание. Однажды я все же подкараулил ее после школы и провожал до дома. Было начало апреля, голуби ворковали призывно на подсохших крышах, солнце светило с небес, в проходных дворах моего Аптекарского переулочка звучала веселая музыка. На повороте к ее дому я развернул ее к себе и... на ходу поцеловал, прижался неумело к ее упругой горячей щеке. Она застыла на мгновение, полускрыв глаза, а потом резко рванулась к подъезду и, уже открывая дверь, одарила меня через плечо сияющей улыбкой, бросив на ходу:

– Ду-ура-ак! – и скрылась в подъезде.

А я, с прыгающим от радости сердцем (она же не обиделась! Она не оттолкнула!), бросился домой, прыгая через лужи, как одуревший мартовский кот. Я в этот день не пошел на тренировку, а просидел весь вечер у открытого окна, слушая «Джамайку», которую без конца крутил сосед в доме напротив.

Но счастье мое длилось недолго. Ленка как-то разоткровенничалась в женской физкультурной раздевалке со своей лучшей подругой Анькой Розенбаум, совершенно забыв, что перегородка между мужской и женской раздевалкой фанерная. И я услышал, как золотовласая Ленка, с которой я не сводил влюбленных глаз, покупал билеты в кино, читал стихи Блока и Маяковского и гулял весенними вечерами по переулочкам нашего микрорайона, безапелляционно заявила Аньке:

– Не-ет, Анечка, это ты зря... Дрейзина я вовсе не люблю. С чего ты взяла? Ростом он маленький, не то что Вовка! Да и знаешь... ты не обижайся, ты моя подруга, но... Дрейзин еврей. Я, конечно, ничего не имею против евреев, они люди интеллигентные, воспитанные, но серьезного между нами ничего быть не может. Моя мама так и говорит – евреи хороши для компании, потому что умные, развитые, юморные. Но для личного знакомства – ни в коем случае! Вот ты бы познакомилась с ним... А что? Давай! А то он нам с Вовкой только мешает...

Она говорила еще что-то, но я уже не слушал. Кровь бросилась в голову. Вот оно, оказывается, как повернулось! Но меня потрясло не столько даже Ленкино «он еврей», как коварство моего лучшего друга Вовки! Он всегда гулял с нами, как бы за компанию, одновременно выгуливал собаку, иногда к нам присоединялся еще один наш товарищ, Валерка. Но по негласному уговору, Ленка была моей девчонкой и это никем не оспаривалось. Я едва удержался тогда от крика, громкого негодования, немедленной истерической разборки с Ленкой, драки с Володькой и прочих глупостей.

Наш тренер по боксу всегда говорил:

– Настоящий боец, пацаны, – это не бицепсы, не прыгучесть и не реакция, хотя все это важно. Настоящий боец – это выдержка и хладнокровие.

Я ничего им не сказал тогда. Просто перестал ходить с ними на совместные прогулки. Я понял – они просто боялись афишировать свои чувства, ведь у меня был второй юношеский по боксу, и они оба боялись «разборки».

Но рослый (метр восемьдесят) красавец Вовка мог не опасаться. Они оба просто перестали существовать для меня.

Вот эта давняя история, очевидно, отложилась в моем подсознании, и когда я знакомился с очередной русской красавицей, то старался не называть свою фамилию и избегал разговоров на «национальные темы». Внешность моя была нетипична для еврея (глаза и волосы – светлые), поэтому при легких отношениях с дамами проблем не возникало. Уже потом, через много лет, я понял, что при чисто постельных отношениях женщинам не важна твоя национальность, их волнуют совсем другие вещи. Например, твои внешние данные, хотя совсем не обязательно рост, ширина плеч и наличие накаченных мышц. Это – как придется. Гораздо важнее мужские способности. Примерно треть моих дам интересовала длина моего «достоинства». Некоторых волновала моя платежеспособность, если это касалось ужина в ресторане или поездки на Рижское взморье. Времена тогда были вегетарианские, и советские дамы не были столь избалованы. Иные любопытствовали, а слабо мне достать билеты в «Таганку», «Сатиру» или «Большой»? Интеллектуалок, помимо мужских способностей, интересовало, разумеется, количество и качество прочитанных книжек, а также умение вовремя и по делу раскрывать рот в компании. И, конечно, практически все они ценили букеты цветов и духи к дню рождения и Восьмому марта и прочие мелкие знаки внимания, которые не имеют значения для нас, мужиков, но очень ценимы так называемым «прекрасным полом».

Но, когда дело шло к венцу, ЗАГС и «совместному ведению хозяйства», вот тогда мои русские дамы проявляли интерес к фамилии и прочим паспортным данным.

Конечно, сегодняшним молодым не понять тогдашнего настроя московских девиц, ведь с той поры миновало сорок лет, и нет уже Советского Союза с его вполне фарисейским законодательством и ублюдочными неписаными законами. Но все это было. И советские девушки вынуждены были как-то приспосабливаться к действительности.

Правда, были в те времена и отчаянные девки, что мечтали любым способом вырваться из гнилого советского «рая». Вот для таких «еврей был не мужчина, а средство передвижения». Но таких в ту пору было немного.

Поэтому сегодня я не склонен обвинять арийских подруг моей юности в расовом подходе к проблеме замужества, это был всего лишь здоровый инстинкт выживания в предлагаемых окружающей жизнью условиях.

Но сероглазая Леночка была как раз из породы немногочисленных в то время «национал-патриотов», для коих нацистское выражение «кровь и почва» было главным при выборе предмета воздыхания.

В общем, вся эта история отразилась в моем сознании и я, даже во взрослом состоянии, при очередном знакомстве был настороже и закован в некий панцирь, защищавший меня от неожиданных признаний, хамских выпадов и мелких подлостей, столь свойственных женской породе.

Но в своем тогдашнем ослеплении я почему-то решил, что еврейки лишены скверных моральных качеств, за что и был примерно наказан Всевышним.

Первая моя жена, тем не менее, оказалась русской. С ней все вышло хорошо, быстро и внезапно. Четвертый курс института. Спортлагерь. Посиделки у вечернего костра с возлияниями. Щупающий, оценивающий взгляд зеленоглазой загорелой блондинки. Лихорадочные, сумасшедшие объятия в стогу сена. И мое удивление, что она в свои девятнадцать оказалась намного опытнее меня, двадцатидвухлетнего. Мы поженились на пятом курсе, обычная студенческая свадьба, Светка была уже на четвертом месяце. Моя тетка Рита насмешливо уронила:

– Куда лезешь, шлимазл? Ее родители тебя терпеть не могут.

– Но почему?

– Потому, что ты – еврей!

– А как же ты с дядей Славой?

– Времена изменились, дурачок! Ищи жену среди своих.

Мы прожили со Светланой десять лет в любви и согласии, родили двоих детей, но тетя Рита оказалась-таки права. Ее родня ненавидела меня, и нас все же развели.

Моя вторая жена, милая двадцатилетняя девочка, в первую же совместную ночь заявившая, что она – еврейка (хотя из паспортных данных этого вовсе не следовало), увы, оказалась стопроцентной стервой.

Меня угораздило познакомиться с ней, с этой Инной, на одной новогодней вечеринке. Вернее, меня познакомила ее подруга, которая знала меня по экспедиции. Она ей все уши прожужжала:

– Ах, Дрейзин! Это же волк-одиночка! Независимый... сильный... загадочный. Все девушки Анапской экспедиции мечтали, чтобы он, ночью... в палатку... сорвал одеяло и... ну, ты понимаешь! У него та-акие руки...

Интересно, откуда она знала про мои руки? Когда Инка мне это все рассказала, я сильно удивился. И подумал – вот так и рождаются мифы, саги и всякие прочие легенды. Что до меня, то я вовсе не считал себя каким-то «волком-одиночкой», красавцем или секс-символом, от которого «все девушки» Анапской экспедиции падали в обморок. Да и руки у меня самые обычные, ну разве что развитые от занятий самбо и боксом. Но до Шварценеггера и Сталлоне мне, конечно, далеко.

В общем, после того, недоброй памяти новогоднего вечера, когда одуревший от водки с «Советским шампанским», я завалился в койку вместе с Инной и проделал с ней все то, что одуревший от выпивки половозрелый самец проделывает с приглянувшейся дамой, я очнулся в собственной квартире, на тахте, накрытый почему-то кроме одеяла еще и своей дембельской шинелью, с противной болью в правом виске. Сквозь боль в виске я услышал, как Инна хозяйничает на моей кухне. Потом она появилась в поле зрения в надетой на голое тело моей клетчатой рубашке-ковбойке и на вопрос, почему я укрыт шинелью, ответила, что ночью я бушевал и кричал, что мне холодно и, что я на Северном полюсе! Вот что делает с человеком коктейль «Огни Москвы». Когда же я осведомился насчет выполнения своих мужских обязанностей, то



Инна, игриво поведя глазками, сказала, что я был на высоте, и претензий у нее нет. И вот этот ее ответ, в сочетании с укрыванием шинелью, так меня к ней расположил, что наше новогоднее приключение растянулось на целых пять лет. Мы прожили все это время не расписываясь, ее еврейская мамочка, разумеется, негодовала, как это так, ее девочка живет с этим стариком (мне тогда было тридцать семь), а он, мерзавец, соблазнил невинное дитя (ха-ха!) и даже не чешется по поводу свадьбы. Ну, насчет «невинного дитяти» – это она преувеличила: какая это столичная девица, да в двадцать лет, «невинное дитя»?

У Инны, по ее собственному признанию была, уже пара хахалей, что по московским меркам вполне вегетарианское прошлое.

Что же до моих отпрысков от первого брака, то оба они, и Стас, и Танька, с Инной потом подружились, так как разница в возрасте у них была не столь велика, да и акселерация сделала свое черное дело.

Через пять лет мы с ней все же расписались, свадьба была очень скромной, без ресторанного грохота и пупса на капоте «свадебной» «Волги», отпраздновали дома, были только свои: ее подруги и пара мужиков из моей экспедиции. И все, может быть, и было бы нормально, но тут случилось два не связанных между собой события. В стране началась перестройка, а Инна поехала в свою первую археологическую экспедицию.

Меня, до этого относившегося к политике как к безнадежно-грязному делу, затянуло перестроечным водоворотом в демократическое движение Москвы: я носился по митингам, участвовал в демонстрациях против «Памяти», потом меня занесло в какой-то Московский комитет национальных общин, где я представлял еврейскую общину вместе с каким-то раввином. Через этот самый Комитет я занялся, вместе с бывшими «отказниками», организацией ни больше ни меньше как съезда всех евреев СССР. Съезд состоялся в Московском Киноцентре при поддержке каких-то международных спонсоров и под улюлюканье русских национал-патриотов.

Увязнув в этой бурной политической каше, которая лично мне не принесла никаких дивидендов, я потерял контроль над моей Инной и ее новыми знакомствами, совершенно забыв, что быт археологических экспедиций, проходящих в курортной зоне Черного моря, изобилует любовными приключениями.

И вот, когда она вернулась из экспедиции, то вместо влюбленной в меня по уши девочки, с восторгом выслушивающей мои пространные речи по поводу: а) истории России, б) истории евреев, в) истории древнего мира, г) работы на рыболовецких сейнерах в северной Атлантике, передо мной была чужая взрослая женщина со стиснутыми от внутреннего напряжения кулачками, окаменелой спиной, истерическими нотками в голосе и ледяной ненавистью в глазах. На мои тревожные вопросы (Что случилось? Как ты себя чувствуешь?

Что происходит?), она не отвечала или же ненатурально хохотала, несла какую-то околесицу про мою тупость в вопросах секса, и что от меня вечно несет потом, как из спортивной раздевалки. Устав от собственных истерик, она картинно брала гитару и начинала громко петь: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...» или «Черное море, Черное море... Ах, этот блеск плюс плеск та-ра-ра-ра!...». А потом вдруг собиралась, наскоро красилась и убегала, пропадала на несколько дней, а когда вновь появлялась, то на мои расспросы огрызалась:

– У подруги была! Какое твое дело?

Мой тихий домашний очаг, где я любил отдыхать от экспедиций, а в последнее время от митингов и демократических тусовок, превратился в буйное отделение сумасшедшего дома. В итоге я получил сердечный приступ, чего никак нельзя было ожидать при моих регулярных занятиях в «качалке». В подмосковном санатории, где я проходил реабилитацию, она побывала всего один раз, да и то под конвоем собственной мамочки, которая в данной ситуации, как ни странно, целиком взяла сторону нелюбимого зятя.

Когда же после трехнедельного санатория я вернулся в родные Фили, то застал пустую квартиру, пустой же холодильник, сиротливо распахнутый шкаф и на кухонном столе записку: «Уехала в Ленинград. Когда вернусь, не знаю. Инна...»

Как выяснилось позже, она укатила на все майские праздники в Питер с экспедиционным хахалем. Сей хахаль впоследствии оказался хорошо известным мне доктором по фамилии Гринбойм. Этот Гринбойм валандался по черноморским экспедициям вовсе не потому, что любил древнюю историю, а токмо в поисках дешевого отдыха у Черного моря. По отзывам экспедиционных ветеранов, Гринбойм, несмотря на плюгавую внешность, «петушиную» грудь и плешистую бороденку, не пропускал ни одной слабо прикрытой «бикини» задницы и, по общему признанию, таки пользовался успехом. Экспедиционные мужики, обладавшие завидным ростом, широкими плечами и внушительной мускулатурой, удивлялись столь странному выбору и объясняли успехи Гринбойма капризами женской натуры.

Классику надо было читать! Теодора Амадея Гофмана! Про крошку Цахеса по прозвищу Циннобер! Немецкий мистик красочно объяснил, как по странной прихоти Высших сил у колыбели жалкого морального и физического уроды появляется добрая фея и наделяет его невидимым «золотым волоском», от коего потом млеют все бабы. Да если бы только бабы!

Но все это я узнал уже потом, после приезда в Израиль, а тогда я ничего не мог понять. Мишка Калашников, мой тогдашний приятель и начальник той злосчастной экспедиции, клялся на голубом глазу, что ничего такого за моей Инной не водилось. Я, конечно, поверил ему. Я поверил, хотя и знал, что в экспедиции ничто не может скрыться, тем более от начальства, ибо территория палаточного лагеря ограничена, стенки палаток проницаемы для звуков, и у любого начальника всегда есть свой «стукач».

Но я поверил, хотя никаких оснований для веры не было. Самое скверное было то, что мы с Инной, как раз до отъезда в экспедицию, подали документы на выезд. Вызов из Израиля уже пришел, документы находились в стадии оформления, но теперь, когда она пропадала неизвестно где и с кем, все это откладывалось.

Помог, как всегда, случай. Однажды, придя домой с очередной еврейско-демократической тусовки, я застал Инну, скрюченную на тахте под двумя одеялами, кашляющую, сопливую и несчастную. Эпидемия сезонного ОРЗ добралась и до нее, и зловерные микробы вмиг прекратили ее бурный роман, ибо сопли, кашель и ломота в суставах не способствуют полетам сексуальной фантазии.

Она была несчастна, плакала и просила прощения. Она уверяла, сморкаясь в полотенце, что это была ошибка, и что она все это время сохраняла ко мне в душе самые дружеские чувства.

Мне стало ее жалко. А кого бы не охватил приступ гуманизма при виде кающейся Марии Магдалины, да еще исходящей соплями? Ее взлохмаченная голова, опухшая от слез мордочка, несчастные кроличьи глаза и раздиравший грудь кашель сделали свое дело. Неделю я прыгал вокруг нее, доставал сушеную малину, ставил ей горчичники и банки, вызывал врача, и из привезенной ее мамочкой мороженой курицы варил бульон по рецепту моей покойной бабушки. И за этими хлопотами как-то позабылись ее злобные истерики, оскорбления моего достоинства и недельные пропажи из дому.

Ну, а потом... Потом были сборы в дорогу и проводы, ее многочисленная родня проливали слезы, а ее папа, отведя меня в сторону, просил не обращать внимания на «инкины выходки и капризы», все это по молодости, потом все утрясется. И я, конечно, как честный офицер, обещал.

По прилете в Израиль нас отправили в кибуц, потому что родных и друзей у нас на новой родине не было, а мой хороший знакомый по совместной деятельности в еврейских неформальных тусовках, уехавший в Израиль раньше меня г-н Эпштейн, меня почему-то вдруг не узнал.

Что делать? Пришлось обратиться в Управление кибуцного движения, а там вопрос решили споро, благо у них как раз разворачивалась новая программа для таких неприкаянных: «Первый дом на родине». Кибуц был на самом севере Галилеи, место прекрасное, чудная природа, чистый воздух, питание, улыпан по изучению иврита, легкая работа на местной фабричке два раза в неделю, да что там говорить! Кто знает, что такое израильский кибуц, тот меня поймет. Короче – живи и радуйся. Но Инна связалась с Москвой по телефону, благо, в кибуце для «олим» была скидка, и снова «подсела на иглу» гринбоймовых обещаний. Она поверила, что вот-вот он приедет в Израиль, развернет здесь частную клинику, заберет ее к себе и вот тогда будет ей счас-стье.

Как же! Что он, дурак: бросать трехкомнатную квартиру в центре Москвы, жену с двумя детьми и свой медицинский кооператив и менять всю эту роскошь на полную «туманность Андромеды» в неведомом Израиле? Я не знаю, что он там ей напел в телефон, но она снова начала скандалить по пустякам и, как только мы закончили улыпан, собрала вещички и рванула в Тель-Авив первым же утренним автобусом.

А я остался доживать положенное мне по программе время в кибуце, надеясь, что меня оставят, как специалиста с высшим образованием. Но секретарь кибуца Амнон заявил, что раз от меня уехала жена, то я человек ненадежный и для кибуца неподходящий...

Меня все же пожалели и перебросили в другой кибуц, где была нужда в холостых волонтерах.

Там я мыл посуду на общей кухне, убирал апельсины, чистил курятники, доил коров и работал на заводе по производству сантехники. Я даже пытался учиться на курсах подготовки учителей для израильских школ, но иврит шел у меня туго и, в конце концов, меня отчислили. Через неделю секретариат кибуца уведомил меня, что программа моей абсорбции закончилась, и я должен освободить место. Правда, мне давалось время для съема квартиры в любом месте Израиля.

Я снял неухоженную полуторакомнатную «дыру» в старом районе Бат-Яма и устроился работать на частную фабричку. Мое высшее образование, все мои прежние навыки и знания в Израиле оказались ненужными, да и возраст мой, как мне объяснили старожилы, оказался критическим. Я работал на фабрике по производству плафонов для неоновых ламп, где вкалывал за минимальную зарплату, выслушивая вдобавок издевательские реплики хозяина по поводу «русим-меандесим»<sup>48</sup>.

Но тут госпожа Фортуна внезапно повернулась ко мне лицом, ибо «ватичка» Софа, с которой я познакомился еще на педагогических курсах в кибуце, помогла с устройством на работу в Управление древностей Израиля. Разумеется, после того, как я однажды вечером, после учебы, задержался в ее комнатке, что она снимала в кибуце, на всю ночь.

На целых два года я окунулся в родную атмосферу археологической экспедиции, работал в Кейсарии, (мои московские приятели-археологи бешено мне завидовали), и казалось уже – вот оно, сбылась мечта идиота. Подруга – милая сексапильная блондинка, у которой оказалась и собственная квартира в Гиватаиме, в хорошем районе. Но, самое главное, работа в качестве антрополога-исследователя, о которой в России мог только мечтать. Что еще нужно? Живи – радуйся. Но... Моя строгая воспитательница, тетя Рита, все же оказалась права. Шлимазл – это не болезнь детства, шлимазл – это навсегда.

Черт дернул меня поспорить с моим профессором по поводу травм на черепных костях из захоронений в Кейсарии. Профессор утверждал, что следы на лицевых костях говорят о перенесенном сифилисе, я же осмелился возразить ему, что во времена Ирода Великого жители Средиземноморья сифилисом не болели, так как оную болезнь привезли из Америки

<sup>48</sup> русим-меандесим – русские инженеры (ивр.).

матросы Колумба ровно через полторы тысячи лет после Ирода. А следы на костях, скорее всего, от рубящих ударов мечом. Этого было достаточно. Через полгода он меня уволил, то есть попросту не продлил договор, объяснив это тем, что лично ему я как специалист больше не нужен. Я кинулся на кафедру археологии университета, но оказалось, что я и там никому не нужен. Профессор позаботился о моем «ренеме», и меня больше никуда не взяли. Затем то же самое повторилось и в Хайфском университете. Профессор успел позвонить своим коллегам и рассказал про «русского выскочку».

После двух лет счастливой работы по профессии, я оказался на улице.

Я тут же бросился искать работу, хотя бы и временную, писал статьи в «русские» газеты, надеясь, что, может быть, возьмут в газету, хоть на полставки. Бегал по редакциям, заглядывал в глаза более удачливым коллегам по перу.

После одного из таких «походов», придя домой, увидел свои вещи, заботливо собранные Софой в узлы.

– Выметайся, – коротко сказала Софа, – ты – неудачник, шлимазл, одно слово! Видеть тебя не хочу!

На мои попытки что-то возразить, ответила коротко:

– Даю на сборы два часа. Потом вызываю полицию!

Я не знал тогда израильских законов, я не знал своих прав, у меня не было своего адвоката, но одно я знал четко – израильская полиция «русских» не любит и поступает с нашим братом жестоко. Поэтому я тихо собрал вещи, вызвал такси и съехал. Съехал я к приятелю, попросив недельки две для улаживания своих дел. Надо было срочно найти хоть какую-то работу, но еще нужнее была крыша над головой, не идти же ночевать на бульвар Ротшильда.

Через пару дней я устроился охранником в хорошую фирму, зарплату там не задерживали, часы работы не срезали и открыли пенсионный фонд. Работал я по ночам и мог спокойно учить иврит и писать статьи в «русские» газеты, благо, тогда за это еще платили по 50–70 шекелей за «разворот» (сумасшедшие деньги!). С жильем было сложнее, ибо Софа опустошила мои и без того скромные запасы. А тут еще и к приятелю вдруг, как назло, заявились из России «кореша» по прежней жизни, и мне было в категорическом тоне сказано:

– С чужого коня посреди грязи – долой!

Спорить я не стал, и в тот же вечер мне повезло: снял всего за тысячу шекелей в месяц (копейки!) полуторакомнатную халупу в квартале Флорентин. На следующее утро (это была пятница) я не работал, взял такси и перевез весь свой нехитрый скarb: старый экспедиционный рюкзак, две спортивные сумки с книгами, чемодан с одежкой и пишмашинку (все, что привез с собой из Москвы) на новое место и... начался мой последний этап жизни в этой жаркой, небезопасной стране, жители которой пуще всего на свете боятся быть «фраерами». Что касается меня, то я не опасался прослыть «фраером», так как уже давно смирился со званием «шлимазла», что, в общем-то, одно и то же. Я уже ничего не опасаясь в этой жизни, ибо, если верить книге «Коэлет», «что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем». Но я очень сильно подозреваю, что девяносто процентов израильтян, прибывших сюда в разное время из разных стран, принадлежат к этому интернациональному племени шлимазлов, хотя и пытаются уверить себя и других, что они – «самые-самые умные, крутые и гениальные».

На самом же деле, только шлимазлы могли согласиться купить у местных шейхов самые гиблые, бросовые земли и суметь построить такую страну среди болот, голых скал и мертвой пустыни, да еще и отбиваясь постоянно от арабских разбойников.

Я не ропщу на судьбу, но зато теперь я очень хорошо понимаю это расхожее литературное выражение: „мужество отчаяния“...»

## **Первый дом на Родине (Из дневника г-на Н. Лето 2004 года)**

«...В последнее время я часто возвращаюсь к воспоминаниям о своих первых днях в Израиле. Об этом новом, неизвестном и непонятном тогда еще для меня мире странных людей и отношений. Вот все говорят о житейском опыте, приобретаемом человеком к зрелому возрасту и связанной с этим опытом житейской мудрости. Но в этом мире весь мой немалый опыт сорокапятилетнего и весьма тертого жизнью мужика совершенно не годился! Я вспоминаю собрания решившихся на отъезд московских евреев, эти бурные встречи с представителями Сохнута, хорошо одетыми и улыбчивыми мужчинами и женщинами, грамотно говорившими по-русски и обещавшими нам всем, измотанным советской жизнью и перестройкой людям, «золотые горы». И мы тогда поверили в сохнутовские басни. Это мы-то, советские евреи, прокрученные за несколько десятков лет через мясорубку «совкового» бытия, с его извечным «пятым пунктом» в паспорте, очередями за самым необходимым, убогим бытом, хронической нехваткой денег, дефицитом, страхом перед всемогущим КГБ и патетической ложью трибунных вождей.

Мы, классические «фомы неверующие», поверили, что где-то на далеком Юге есть хорошая страна, Еврейское государство, которое всех нас устроит, накормит-напоит, даст хорошую работу, дешевые квартиры, устроит теплую старость нашим родителям и счастливое будущее детям. Сохнутовские посланцы говорили так же убедительно, как когда-то покойный Ильич с броневики на Финляндском, а на тревожные расспросы отдельных сомневающихся граждан (А правда, что у вас там террористы автобусы взрывают? А сколько стоят квартиры в Израиле? А если я мать-одиночка с двумя детьми? А может ли найти работу преподаватель русской литературы? И так далее) – эти господа изумленно разводили руками и радостно отвечали:

– О чем вы говорите? Мы всех вас УСТРОИМ! У нас никто не живет на улице! У нас никто не голодает! На покупку квартир дается машканта! Это ссуда на покупку квартиры! У стариков будет пособие по старости! Матери-одиночки получают деньги на детей! У всех будет работа, у нас в стране ПОЛНО РАБОТЫ!

И советские евреи рванули, обгоняя друг друга, в голландское консульство, в аэропорты, на вокзалы. Бежать! Бе-е-е-жа-а-ать! Бе-е-е-е-е!

На фоне этого панического бегства, моя благоверная, Инна, быстро со мной замирилась, увидев, что я, как один из организаторов первого съезда евреев СССР, пользуюсь в еврейских кругах Москвы неким весом, и сделав вид, что ничего между нами не произошло, упростила меня не брать близко к сердцу ее «курортный романчик», мол, с кем не бывает, и поторопиться с получением разрешения на выезд.

Разрешение я получил быстро, оформление заняло еще месяц, а дальше было, как в тумане. Проводы, Киевский вокзал, мои товарищи по Демдвижению несли наш нехитрый скарб: два экспедиционных рюкзака, два чемодана с книгами да две спортивные сумки с вещами. Мы уезжали без багажа. Да и зачем он там, в Израиле? Там мы купим новую мебель и холодильник и поставим все это в новую квартиру где-нибудь в Иерусалиме или Хайфе. А теплые вещи там не нужны. «Чунга-чанга, синий небосвод! Чунга-чанга, лето круглый год!».

Будапешт нас встретил неожиданным холодом и двойным оцеплением по периметру вокзала. Рослые полицейские в черной форме с короткими автоматами наперевес. Помятую в поезде разношерстную толпу евреев оцепили и быстро повели к автобусам.

– Хорошо, хоть овчарок нет, – мрачно пошутил кто-то.

Автобусы привезли нас на какую-то рабочую окраину (судя по количеству дымящихся труб и одинаковых кирпичных зданий). Нас завели в общежитие, где мы получили номерки

от комнат и талоны на обед. Какой-то всезнайка из тех, кто уже сутки обитал в этом убогом пристанище, разъясняя вновь прибывшим:

– Пару дней нас здесь продержат. А может, и целую неделю отдохнем. Лично мы с женой в Израиль не собираемся. Из Будапешта ходит электричка до Вены. Какая граница? Граница осталась в Чопе. Здесь демократическая Европа. А в Вене – прямиком в «Хиас»<sup>49</sup> – и в Америку! В Израиль едут только ненормальные...

Но отдохнуть неделю нам не дали. Через пару часов после обеда под окнами общежития вдруг зафырчали автобусы. По коридору загремели шаги, и в нашу комнату зашли двое рослых молодых людей.

– Вы прибыли сегодня с будапештским поездом? – спросил усатый парень со странным акцентом.

– Да, – робко ответила жена, – но нам сказали, что мы должны быть здесь три дня...

– Какие три дня?! – категорично возразил усатый. – Вы что, ничего не знаете? Ясир Арафат отдал приказ взрывать автобусы с новыми репатриантами, едущими в Израиль! Ожидается так же диверсия против мест проживания репатриантов.

– Вот ужас! – жена панически схватилась за голову. – Что делать?

– Не волнуйтесь, – твердо ответил усач, – мы о вас позаботимся. Но вы немедленно должны покинуть гостиницу! Грузите ваши чемоданы. Автобусы уже ждут на улице.

Парень записал наши фамилии и кивнул напарнику, который молча подхватив наш нехитрый багаж, вывалился в коридор. Мы с женой, одеваясь на ходу, выскочили следом за рослым усачом. Уже пробегая по длинному коридору вслед за нашими неожиданными покровителями, услышали, как большое грузинское семейство ругается с другими такими же посланцами Сохнута:

– Нэт! – кричал глава семейства, двухметровый увесистый усач. – Нэ имээте права! Это насилиэ! Мы нэкуда нэ едэм, панятна тэбэ?! – И размахивал внушительным кулаком перед носом оторопевшего израильянина.

Чемоданы наши исчезли в чреве огромного грузовика, а нас самих, не успевших даже пикнуть, энергично затолкали в набитый людьми автобус, который тут же тронулся с места.

В автобусе было душно, стоял смрад от потных тел и запаха нестиранных пеленок. Надсадно плакали дети. Громко кашлял какой-то старик. В глубине салона мелькнул давешний всезнайка, собиравшийся в Вену со своим семейством. Перед нами у самого выхода стояли трое молодых израильян, сопровождавших автобус, и черноглазая, черноволосая девушка экзотической внешности, неприязненно оглядывая пассажиров, сказала что-то своему спутнику. Жена, изучавшая в течение трех лет иврит в одном из лучших московских улыпанов, перевела мне на ухо:

– Она говорит, что почему-то эти русские так плохо пахнут, и дети у них какие-то болезненные и крикливые.

Так мы впервые познакомились с отношением к нам со стороны коренных израильян – сабр.

Но это были еще цветочки. Я не буду описывать подробности нашего прилета в Израиль. Все происходило, как в тумане, так как мы были слишком усталыми. Раздражало назойливое гостеприимство, когда мы спустились по трапу самолета, какие-то девочки в военной форме совали нам руки кульки с апельсинами и убеждали на ломанном русском, что «это хорьешо и вкусно». Раздражал Щаранский, устроивший прямо в аэропорту митинг, где нас, вымотанных этим сумасшедшим транзитом, усадили на стулья. Целый час он сотрясал воздух о том, какие мы молодцы, что приехали на родину. Потом нас завели внутрь обширного здания

---

<sup>49</sup> «Хиас» – Общество помощи еврейским иммигрантам – благотворительная организация США (англ.).

и стали по очереди вызывать к чиновникам, оформлявшим документы для новых граждан. В ту ночь в аэропорту им. Бен-Гуриона приземлились три огромных лайнера «Эль-Аль», набитых под завязку евреями из трещавшего по швам СССР.

Нас с женой оформили уже под утро. Чиновница, выдавшая мне документ под названием «теудат оле», дававший нам право получить гражданство, довольно грубо сунула мне серую книжечку, странного вида бланк с написанными цифрами и небольшую пачку разноцветных бумажек.

– Где ты ходишь? Я уже полчаса вас вызываю!

– Но я не слышал. Здесь очень шумно.

– Это не моя проблема. Держи. Это – «теудат оле», твой с женой документ на полгода. По нему вы получите «корзину абсорбции». А это чек, понятно? Не потеряйте его. Это деньги, подарок от Сохнута. Вы вложите их в то отделение банка, где откроете счет. А это, – и она потрясла цветными бумажками, – это пятьсот шекелей на первое время. Все! Багажа у вас нет? Родственников в Израиле нет? Тогда вас отвезут в гостиницу «Ами». Это в Тель-Авиве. Спускайтесь на выход вон по той зеленой дорожке. Такси я вам закажу.

Такси она и вправду заказала, поговорив с водителем на странном шипящем языке. С нами загрузили в машину еще одну старушку, заговорившую с нами на дикой смеси ломаного русского и идиш. Водитель, смуглый крепкий парень восточного типа (мне он напоминал наших кавказцев), весело с ней переговаривался на иврите, выясняя, куда ей надо ехать.

Наконец, мы тронулись. Очень быстро светало. Такси несло по совершенно пустому шоссе. Навстречу летели пальмы, как первый привет от неведомой экзотической страны. Но мне было не до восторгов. Хотелось только одного – прилечь, куда угодно, и спать, спать, спать. Окружающий мир плыл перед глазами. Очнулся я тогда, когда к нам в машину сел некий рослый, смуглый тип, похожий на мафиози из итальянского фильма. Он живо заговорил о чем-то с водителем, изредка оглядываясь на нас. Я внезапно обнаружил, что милой старушки рядом с нами уже нет.

Такси наше медленно катило по пустынному шоссе, по бокам которого росли густозеленые пирамидальные деревья и густой кустарник с яркими цветами. Моя жена вдруг тревожно сжала мне руку.

– Слушай, – зашептала мне в ухо, – ты знаешь, что они говорят? Вот этот, что справа, сейчас сказал, давай, мол, остановимся, здесь недалеко поворот в заброшенный сад, и трахнем эту молодую русскую. Интересная баба. А этот ее муж, что он нам может сделать? Дадим пару раз в живот для остротки. Да он и не выглядит здоровым. Они новые репатрианты. Они и слова на иврите не знают. Сень, что делать?

– А ты точно их поняла?

– Я же три года иврит учила! У лучшего учителя в Москве! Забыл?

«Черт, – подумал я, – бежали из России от погромщиков «Памяти», а тут, получается, то же самое. Настигла горькая мысль, что и в «еврейском государстве» нам не укрыться от подонков. А где же эта хваленая еврейская солидарность? А как же обещания господ-сохнutowцев, что нас здесь встретят с радостью и любовью?».

Но надо было что-то предпринять, так как машина стала замедлять свой ход. И моя рука потянулась к заднему карману джинсов, где я на всякий случай (вот она, московская привычка!) хранил подаренный когда-то приятелем-хулиганом самодельный кастет. Кастет был хорош, выточен на заводе из бронзовой чушки и окрашен в черный цвет. Несколько раз выручал меня в критических ситуациях в ночной Москве. Но жена, заметив движение и зная мой характер, выкинула дипломатический фортель. Она громко спросила на иврите:

– А вы куда нас сейчас везете? Нам в аэропорту сказали, что нас отвезут в гостиницу «Ами». Это где-то в Тель-Авиве. Нас там должны встретить!

Фразы на иврите прозвучали, как гром среди ясного неба. Два смуглых аборигена мигом переглянулись, такси затормозило и мужик, похожий на итальянского мафиози, выскочил наружу, что-то буркнул водителю и, хлопнув дверцей, резво затрусил по дороге. Водитель дал газу, такси наше помчалось вперед, обгоняя другие машины, и водитель сурово молчал всю дорогу до самой гостиницы. Когда мы подъехали к гостинице «Ами», уже совсем рассвело. Водитель грубо вышвырнул наши сумки и рюкзаки на мостовую, и такси, взвизгнув тормозами, умчалось в направлении моря.

Море заманчиво шелестело совсем рядом, и ветерок доносил до нас слабый запах водорослей, но мы были в таком состоянии, что не могли оценить прелести рассвета над тель-авивской набережной, а подхватив свои бебехи, направились во временное пристанище, гостиницу для новых репатриантов.

Впрочем, в «Ами» мы пробыли недолго. Провалившись в половине восьмого утра в отведенном номере в мертвый сон, уже в одиннадцать мы были разбужены назойливым звонком в дверь. Нам было предложено на иврите и английском немедленно спуститься вниз и заплатить за номер. Оказалось, что сутки пребывания здесь начинаются с 8-ми утра. Неважно, что мы прибыли в семь, объяснил нам улыбчивый портье, для нас начались уже вторые сутки и мы должны заплатить еще шестьдесят шекелей. Итого от наших пятисот осталось триста восемьдесят. А если мы останемся здесь еще дня на три? Ведь надо же еще что-то жрать. О ценах мы не имели ни малейшего понятия. Надо было быстро что-то придумать. Мы выскочили из гостиницы, и тут нам на глаза попало написанное от руки жирной черной краской объявление: «Группа помощи новым репатриантам. Вход напротив гостиницы „Ами“». И жирная черная стрелка указывала куда-то вдаль. Мы быстро разыскали эту «группу помощи». Группа состояла из четырех обаятельных старушек, мешавших в разговоре русские и польские слова. Они дружно взялись нам помогать, угощали «цукерками», жалели нас («О, вэйз мир<sup>50</sup>, какие вы худеньки, бледненьки! Ви голодовали в этой России!»). В конце концов, узнав, что никаких родных и друзей у нас в Израиле нет, старушки позвонили в «Кибуцное движение», в отдел по устройству новых репатриантов, и посоветовали перейти из «Ами» в кемпинг для туристов.

— Это здесь, недалеко, через две улочки, и гораздо дешевле.

В „Кибуцном движении“ нас встретил старый еврей с таким местечковым акцентом, как будто он явился в современный Тель-Авив прямо из рассказов Шолом-Алейхема. Узнав, что жена учила иврит в Москве, перешел на иврит, одобрительно покивал, выслушав ее ответы, расспросил об образовании и кем работали в Москве.

Потом позвонил куда-то и, коротко переговорив, улыбнулся нам самым приятным образом.

— У вас все будет хорошо. Завтра в девять утра придете прямо сюда, и вас отвезут. Кибуц Дан. Это на севере, возле границы с Леванон<sup>51</sup>. Они согласились принять вас на программу «Первый дом на родине». Вы будете немножко работать и учить иврит в ульпане. Помните, иврит — это главное. Все остальное потом.

В северный кибуц нас отвез замминистра сельского хозяйства страны, Моше К. Это был усатый здоровенный дядька, похожий скорее не на еврея, а на украинского казака, и неплохо знавший русский язык («Бабушка моя родом из Полтавы. В детстве песни мне пела по-русски. „Катюшу“, „Каким ты был, таким остался“ и еще „Черноглазая казачка подковала мне коня“»).

Дядька был влюблен в сельский Израиль и всю дорогу рассказывал нам о кибуцах и мошаввах, о том, какую роль они сыграли в жизни страны, в ее обороне и экономике, и под конец путешествия почти уговорил нас стать кибуцниками. От общения с этим сильным, веселым человеком, постепенно уходило то неприятное, склизкое впечатление от первых часов при-

<sup>50</sup> *вейз мир — увы мне (иди).*

<sup>51</sup> *Леванон — Ливан (ивр.).*



бытия, грязный осадок от грубости чиновников аэропорта и общения с аборигенами в такси по дороге в Тель-Авив.

Нас поселили в отдельном домике возле самой ограды кибуца. Рядом, за колючей изгородью тянулась плантация апельсиновых деревьев. Мы, побросав наши вещи в салоне, вышли подышать прохладным воздухом нового места. Было уже совсем темно, вокруг тянулись сплошной стеной горы, подпиравшие темное, с низкими яркими звездами, незнакомое небо. Где-то рядом дружно хохотали шакалы. В горах время от времени раздавалась стрельба. Как мы потом узнали, это стоявшие тогда в южном Ливане армейские подразделения перестреливались с арабскими бандами.

Вокруг нас в темноте раздавались странные звуки и шорохи. Скрипели под ветром деревья. И яркие незнакомые созвездия подмигивали с темного неба. Так началась жизнь на неизвестной пока родине.

У нас появился свой «метापель» или, по-русски, ответственный за абсорбцию, Авраам, которого мы называли между собой «дедушка-сионист». Мы относились к нему с иронией, к его, как нам казалось, наивному восприятию «русских» репатриантов, к его отождествлению современной России с Сибирью 40-х годов, где Авраам провел три года в лагере и запомнил страшный холод, приросший к спине от постоянного голода живот и окрики конвойных: «Живей, е...на мать!»

Потом была Армия Андерса, африканская жара, бои под Тобруком, высадка на Сицилии, шествие по улицам освобожденного от нацистов Рима. Встреча с агентами Сохнута, тайная переброска на корабле с оружием в Палестину и участие в Войне за Независимость в рядах Пальмаха<sup>52</sup>. Но об этой героической жизни Авраама мы узнали уже потом, когда он показал нам свои награды: яркий британский орден за Тобрук и Сицилию и скромную белую медаль, высшую израильскую награду, «Герой Израиля». А тогда перед нами был сухой маленький старик, смешно говоривший по-русски с польским акцентом.

Но именно Авраам или Ави, (как он просил себя называть), идеалист, строивший и защищавший эту страну, говорил нам правду об Израиле.

– Детки, не питайте иллюзий. Наш Израиль, он, как сэндвич. Здесь есть все. На всякий вкус. И люди здесь, как и везде в мире, самые разные. Поймите и среди евреев есть воры, убийцы и насильники. Есть и шнореры. Вы знаете, что это такое? Это ловкачи, которые не раз вас обманут. Здесь вы встретите восточных евреев-сфарадим, которые станут вас ненавидеть только за то, что вы ашкеназим<sup>53</sup>, еще похлеще русских гоев. Религиозные евреи в Иерусалиме будут плевать в вашу сторону, потому что ты одет в майку и шорты, а твоя жена в короткую юбку, а это бесстыдство и оскорбление Всевышнего. Но, детки, помните, главное для нас, евреев – это то, что у нас теперь есть своя страна. Поверьте, с высоты моих прожитых лет, все остальное – мелкие цурес<sup>54</sup>. Вам будет трудно. Первые десять лет всегда трудно. Запаситесь терпением. Савланут – терпение. Это главное слово в иврите.

Вот так он нам говорил. Потом была жизнь в кибуце, учеба в ульпане, работа на местной фабрике и медленное вживание в незнакомый мир. Но об этом я напишу в другой раз».

---

<sup>52</sup> Пальмах – еврейские ударные роты, созданы по согласованию с властями британского мандата в Палестине (ивр.).

<sup>53</sup> ашкеназим – субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе (ивр.).

<sup>54</sup> цурес – беды, неприятности (идиш).

**Глава восьмая**  
**Сосед по даче**  
**(Из дневника господина Н.**  
**Осень 2004 г-да)**

*«Есть две вещи, достойные подлинного удивления и восхищения:  
звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас».*  
**И. Кант**

Вы когда-нибудь видели, как плачут одинокие старики? Как они, не стыдясь катящихся по изъеденному временем лицу соленых капель, смотрят выцветшими глазами в пространство, как будто видят там что-то свое, недоступное поверхностным взглядам нового поколения, и причитают, произнося какие-то неразборчивые слова. То ли извиняются за неведомые грехи, то ли упрекают за прошлые обиды тех, кого уже нет на свете. То ли зовут умерших родных, тех, кого любили когда-то. Плачут и жалуются старики незаметно, стараясь не привлекать к себе чужого внимания, когда остаются один на один с прошлым, поэтому вечно спешащая куда-то молодость вряд ли замечает стариков с их слезами.

Господину Н. однажды «повезло» увидеть такие тихие старческие слезы. И тогда же он познал жестокую истину, что вид горящего человека может быть обманчив.

Тогда господину Н. было всего семнадцать лет, и его звали совсем по-другому, жил он тогда в другой стране и не особенно задумывался о будущем, ибо в семнадцать лет нас больше всего интересует настоящее. В ту пору он часто бывал на даче у своей тетки Надежды. На самом деле теткой она ему не была, а приходилась женой племяннику его деда, дяде Матвею. Еще в детстве дед с бабушкой пытались объяснить Сене, кем ему приходится Надежда Георгиевна Кузнецова, жена дяди Матвея и хозяйка самой замечательной дачи на свете, куда Сеню вывозили на лето. Но Сеня так и не понял сего сложного родства и называл Надежду Георгиевну тетей Надей к обоюдному удовольствию сторон. Правда, когда он как-то привез на дачу двух своих школьных приятелей, то они сильно удивились, как это у их друга, еврея Сени, вдруг обнаружилась русская тетка, да еще сибирских казачьих кровей! Семен объяснять им ничего не стал (сложно!), хотя и знал ту давнюю историю знакомства и внезапно вспыхнувшей любви бойца красного бронепоезда «Смерть Колчаку!», Матюши Арановича, и юной казачки из забайкальской станицы, черноглазой красавицы-певуны Надюхи... Россия – удивительная страна, и в ней всегда происходило много странных историй.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.